

ВИКТОР БОЧЕНКОВ

МУЖЕСТВО БЫТЬ ОДИНОКИМ

*Константин Воробьёв и его правда о человеке.
К 100-летию со дня рождения писателя*

У поколения, к которому принадлежал Константин Воробьёв, было то, без чего вообще нельзя творить и чего нет у многих современных литераторов, даже известных и печатающихся, что отсутствует во всех литературоведческих словарях. Без чего вообще нет Писателя.

Была судьба.

Это слово неспроста входит в заголовки послевоенных произведений: “Судьба человека” Шолохова – один из первых рассказов о плене, “Судьба” Петра Проскурина... “Книги, вместившие судьбу” – название статьи Сергея Журавлёва, которая открывает сборник повестей Воробьёва, изданный в 1985 году “Советской Россией”. Со слова “судьба” начинается статья Виктора Астафьева о Воробьёве, опубликованная 10 декабря 1986 года в “Литературной газете”...

Было непростое детство. Эта история известна: у будущей матери писателя муж попал в Первую мировую в немецкий плен, о нём не было ни слуху ни духу, и, когда по курской земле прокатилась гражданская война, она дала в своём доме кров неизвестному человеку. Воробьёва считали сыном белого офицера. Потом с чужбины вернулся отчим. Всё это будет описано, вспомнить хотя бы “Сказание о моём ровеснике”...

Была молодость, которая пришлась на жестокую войну, у самого Воробьёва – тоже плен. Он не единственный писатель, прошедший по его кругам. Можно вспомнить Юрия Пиляра и Степана Злобина. Первый чуть моложе Воробьёва, второй старше на шестнадцать лет и в плен попал, уже успев издать до войны два романа, несколько книг. Можно вспомнить Виталия Сёмина, угнанного в Германию подростком...

Был рубеж, который отныне делит жизнь надвое. У Воробьёва побег, у кого-то другого, например, у Михаила Луконина, случайно зацепившая пуля... Иначе говоря, событие, после которого начинается иной отсчёт времени, иное понимание мира и себя в нём, и можно признаться, повторив луко-нинские строки:

*...С той минуты
в сорок первом
живу, живу, случайностью храним.
Веду перерасчёт всем старым мерам,
и верам,
и невериям своим.*

Творчество Воробьёва — тот самый “перерасчёт”, и потому в его повестях и рассказах сильные этическая тема, исповедальность, автобиографический элемент. Взглянувший смерти в глаза и чудом уцелевший иначе взвешивает оставшиеся за спиной месяцы и годы.

Воробьёв бежал из плена в день своего рождения, обрёл приют на одном из литовских хуторов, организовал партизанский отряд из таких, как он, чудом спасшихся людей. Как-то раз писатель занёс в дневник короткую мысль: “Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим русским”. Здесь немного слов, но смысл их неисчерпаем, и в них сущностная основа его творчества, одна из его непостижимых тайн: такие произведения, как, например, “Крик”, “Убиты под Москвой”, в принципе невозможно написать за деньги, за награду, ради славы.

Остаться наедине с небом

У талантливого, но безвременного, к сожалению, ушедшего писателя Вячеслава Дёгтева есть рассказ “Четыре жизни”, он был напечатан в журнале “Москва” (№ 11 за 1997 год). Вряд ли его можно отнести к лучшим произведениям воронежского автора. Сюжет посвящен совсем недавним событиям: американской агрессии в Югославии. Герой, в прошлом послушник Валаамского монастыря, уже смертельно раненный, отстреливается от сербов-мусульман. Даёт короткие очереди из автомата и молится. Выстрел, молитва, выстрел, молитва. Рядом лежит его убитый друг Венька... Искусственная ситуация и совершенно искусственный характер. Искал себя человек в жизни и не обрёл, ушёл послушником в монастырь, да тут застало его Венькино письмо: поехали, мол, на защиту братьев-славян, вот оно — настоящее дело. Герой под влиянием минутного порыва бросает всё и едет, не закончив роспись иконостаса. Настоятель почти не сопротивляется. А ведь тот и другой должны бы вроде знать: “Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия”. Но нет и попытки спора, нет и попытки душевной борьбы, нет никакого конфликта. Рассказ завершается героической гибелью несостоявшегося художника и послушника. Но если разобраться, бегство здесь — прихоть (одного письма хватило, чтобы сорваться, бросив всё, к чему довольно долго шёл), война — мальчишество, игумен — никакой не “отец духовный”, а человек, который попустительствует капризам.

А вот герои Воробьева “молятся” по-другому.

“Вперед!.. в бога мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит... ползает она!..” (“Убиты под Москвой”). Оттуда же: “Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полупшепотом ругался в бога...”

Из повести “Крик”: “Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в бога”, “Он снова ругнулся в прахриста и замолчал”. И где-то на самых последних страницах: “Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!”

Вот фразы безымянных пленных на самой первой и последней страницах “Это мы, Господи!”: “В кровь исуса мать!” (исус пишется со строчной буквы), “На то ён и немец... в прахриста мать!..”

Ещё пример напоследок. Действие происходит уже после войны. “Платят они, что ли, тебе за брехню? — спросил дядя и выругался в закон и веру” (“Почем в Ракитном радости”).

Воробьёвские эвфемизмы — тема для отдельной филологической статьи. Матерщина его героев особенная. Это подлинная молитва войны... Война и плен у Воробьёва искажают то божественное, что вложено в человека, и он передаёт это без всякой лакировки. Если у Ницше выстроена целая философская система о сверхчеловеке, то военная проза Воробьёва — лучшее доказательство того, что “сверхчеловека” не существует. Война у него определяется близко к толстовскому: “совершенно противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие”, потому что на убийство отныне, как продолжал автор “Войны и мира”, не смотрят как на преступление. Но, разумеется, толстовской философии у Воробьёва не отыщешь. Она у него другая.

Его герои потому и богохульствуют, что стремятся остаться людьми, когда их вынуждают отказаться от всего человеческого. За этой лексикой не стоит

никакого личного пренебрежения к церковности. С какой пронзительной грустью описано закрытие сельского храма в “Момиче”! Детская память писателя хранила тёплое и живое воспоминание о церковных службах, хотя сам он не был, как это сейчас называется, воцерковлённым человеком. Вот одно его признание из письма редактору Нине Дмитриевне Костржевской: “Сегодня Троица. Когда-то, в детстве, это был самый радостный праздник. Хаты потому что украшали ветками, а пол усыпали так называемой богородицыной травой*. Вы этого не знаете? Три дня живёшь, как в лесу”¹.

О том, как чувствуется в его повестях запах трав, Воробьёву будут писать читатели. Некоторые названия цветов стали заголовками рассказов. Подснежник — прозвище мальчика, который родился и вырос в партизанском отряде, Костяника — девочки и взрослой женщины, синель — народное наименование василька. Здесь и хрупкость жизни, мимолётность и красота, необходимость её беречь, и первое впечатление детства, того клочка земли, где ты родился, и — незримо и даже наверняка против писательской воли — мудрые философские стихи сто второго псалма: “Человек — как трава дни его, как цвет полевых, так отцветёт, ибо дыхание прекратилось в нём — и не будет его...”

Упоминание растений дело самое обычное. Но это у Воробьёва не только ботаника. Деревья, окружённые колючей проволокой в лагере для военнопленных, — такие же узники, как и люди. Они делят их страдания, они живут своей особой жизнью и, как ракита с лоснящимися по весне красноватыми почками на самых последних страницах повести “Это мы, Господи!”, что-то пытаются сказать человеку. Здесь дерево словно зовёт бежать, настойчиво, трижды. А “седой тополь” из одноимённого рассказа, чью кору объели пленные — от земли и насколько может в высоту дотянуться человеческая рука — поражает способностью жить: у него раскидистая крона и “листья на нём не свёртываются в трубочку, не жухнут”. После удачного побега луна и звёзды вдруг кажутся Климову тополиной листвой... Этот тополь — основа мироздания. Он стоит в лагере, как мифическое древо познания добра и зла. В раю была яблоня. А в аду, в лагере, который именуется “Долиной смерти”, символом жизни стал тополь.

Вспоминается дуб из “Войны и мира”, который для князя Андрея становится символом обновления. Том второй, часть третья: “Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна — все это вдруг вспомнилось ему”, “. . . Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь”. В советские годы мы это учили в школе наизусть.

Философия Воробьёва предметна, лишена отвлечённых абстракций, всегда замкнута на человеке, неотрывна от его земного бытия.

“Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает — и исчезает ли? — из мира то, что потянуло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, тёплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки” (“Почём в Ракитном радости”).

Тут своё понимание бытия и, если переводить в термины, онтология и феноменология. Творчество Воробьёва — писателя, которого, кажется, никогда и не рассматривали как философа — берёт на прицел, всегда обострённо, жёстко, тревожно, глубинную человеческую сущность, стремясь отыскать границу между человеком и зверем. То, что способно послужить опорой для людского братства и единства, ибо именно от этого зависят и будущее, и вообще жизнь.

Чтобы жить и держаться, нужно, чтобы у тебя было что-то недосыгаемое.

В одной из самых философских повестей Воробьёва, “И всему роду твоему”, точнее, в набросках к ней, поскольку она осталась незавершённой, главный герой Сыромуклов думает о том, что если даже на земле прекратится жизнь, то где-то “за пределами здешнего неба она всё равно будет продолжаться, потому что это немыслимо дико, чтобы её не было, такой же голубой, зелёной, багряной, белой, как наша, посланной человеку великой милостью Великой тайны...”

* Богородицына трава — народное название тимьяна (он же чабрец).

Когда человек поставлен в самые невозможные условия, у Воробьёва главной доминантой его бытия становится вера. Во что угодно. Разрушить человека и его веру может совершенное им предательство. Испуется оно страданием. Так, вернувшийся в Ракитное писатель Останков мысленно обращается к мальчишке по прозвищу Кубарь, которого посадил к себе в машину, и вспоминает дядю, на которого когда-то донёс, плен, неволю после войны: “Мы верили в правду, в Ленина, в добро, в день. И чтобы вынести побои, оскорбления и унижения, обязательно нужна была такая вера. Иначе нельзя было выжить и одного дня, я хорошо знаю это по немецкому лагерю. Ты понимаешь, о чем я, Кубарь? О том, что на Севере я не имел права на такую веру. <...> Тут, на Севере, я приблизился к тому водовороту несправедливости, надругательства и лжи, в который был ввергнут дядя Мирон, и сознание своей невинной вины заменило мне то, что когда-то украл у меня Косьянкин...” Страданием испуется предательство и в рассказе “Уха без соли”, но там — совсем особая история.

*

В библиотеке, которая расположена недалеко от моего дома, отведено возле входа несколько полок, где можно оставить ненужные книги: вдруг кому пригодятся. Иногда я пересматриваю их, иногда что-то беру. Однажды мне попался здесь потрёпанный роман Евгении Леваковской “Первая зима”, изданный “Советским писателем” в 1952 году. Единственный рисунок был на фронтисписе. Водовзводная башня московского Кремля, изображённая художником без острой шатровой вершины. Небо в рваных облаках, сквозь них смотрит вниз — на заградительный аэропорт противовоздушной обороны, который тянут вдоль кирпичной стены и облетевших деревьев несколько человек, на мужчину в бурой военной телогрейке — тревожная, мгlistая зимняя синь. Автор была в своё время известной писательницей, вела отдел прозы в журнале “Москва”. Листая книгу, обратил я внимание, как в девятнадцатой главе описывается парад на Красной площади. В списке фамилий тогдашних деятелей — Молотов, Маленков, Микоян, Каганович, Будённый — старательно была замазана простым серым карандашом какая-то одна, судя по всему, очень короткая. Разобрать буквы было совершенно невозможно, прежний владелец книги “потрудился” на славу. Только посередине, чуть ниже строки, торчала из-под жирного пятна маленькая палочка, и я догадался, что это “р”. Кто-то решил таким образом расправиться с Берией. Это, может быть, характерная в своём роде деталь читательского мышления, но привлекло меня другое. На 177-й странице один из героев романа говорит, что прошёл финскую войну и ещё в Польше видел немецкие танки. Вы, тыловики, сетует он в разговоре, не понимаете, что это такое. Война — вовсе не то, чем представляется она молодым. Она страшна. А собеседник резко ему возражает: “Почему вы смеете забывать, что ещё под Минском против танков вышли люди с бутылками, крикнули: “Коммунист сильнее танка!” — и начали жечь эти проклятые машины?” И дальше в том же шапкозакидательском тоне...

Воробьёв открывает в человеке неведомые порой для самого же героя глубины, свойства, ощущения. Достаточно посмотреть, как анатомически анализируется в повести “И всему роду твоему” чувство страха, а в “Ракитном...” — вера, необходимость осознанной цели... Роман, который я держал в руках, был из тех книг, которые, как выражается один герой Воробьёва, похож не на кардиограмму сердца, а на прямой воронёный штык. Коммунисты сильнее, и точка, и почему “вы смеете” заявлять иное!

В “Убитых...” один герой, косясь на нишу окопа, где заготовлены бутылки с бензином, произносит: “Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, пока она репицу свою подставит тебе... Мотор там у неё спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты...” Вот она, правда-то. Она является через иронию (“поллитра”), через технические детали, просторечия, предоставляет широкий простор психоаналитикам. Танк женского рода, как и слово “смерть”... Это почти живое существо, персоналифицированный образ: у него есть лоб, есть репица — так называют конечную часть позвоночника у животных у самого хвоста. У Леваковской коммунисты идут на танк прямо в лоб... У Воробьёва человек,

Алексей Ястребов из “Убитых”, поджигает бронированную машину, потому что у него не осталось сил бояться, он сам превратился в механизм, в животное, умеющее материться (в старину говорили — “лаять”): “Ага, матери твоей чёрт!..”, “стерва худая”. На последних страницах, у вырытой кинжалами могилы для капитана Рюмина, происходит апокалиптическая схватка: механический зверь против человека, который сам стал зверем. “Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, больно отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл всё, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать...” и т. д. Потом возвращается память, образы детства. Они сопровождали Ястребова, когда он шёл на танк, и он не чувствовал одиночества... Ястребов щупает кубари — знаки отличия, квадраты в петлицах. Подсознательное движение, означающее: я живу, я помню, я человек. И дальше — лавина чувств: “оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость тому, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчётная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжёт танк”. И никакой мысли о коммунизме (как у симоновского Синцова в “Живых и мёртвых”, но об этом чуть ниже). Всё, что совершает герой, его действия и его воля, у Воробьёва не зависят от идеологии, всё развивается по иной логике. Здесь это “логика” живого механизма. Обратим внимание, как описывается дыхание. Это работа машины: втягивание воздуха, выталкивание, удар сердца, и так раз за разом, пока не вернётся память, чувство, осмысление произошедшего.

Литературу тех лет, имею в виду литературу “столбовую” и каноническую, Воробьёв коротко охарактеризовал в не предназначенной для издания рецензии на сборник Георгия Метельского. Речь о его книге “Чистые Дубравы”. В 1965 году она вышла в издательстве “Молодая гвардия”. Рассказик “Тевине”, о котором идёт речь, о литовцах, возвращающихся на родину из Аргентины, в сборнике остался. Воробьёв писал, что он несёт в себе “все пороки литературных поделок того времени: надуманность, психологическую неубедительность, эмоциональную слепоту и глухоту, густой сироп лакировки, художническую беспомощность”². В целом же эта внутренняя рецензия была положительной. Хочу привести следующую строку Воробьёва, где названа причина неудачи рассказа. Она кроется в том, что “сердце не участвовало в творчестве”³. У произведения должно быть сердце. То, что снова не укладывается в прокрустово ложе литературоведческих понятий.

Немного отступлю, чтобы высказать одно предположение. Повесть “Куда летят альбатросы”, которую написал у Воробьёва Кержун (“И вот пришёл великан”), возможно, дружеская пародия: у Метельского в 1964 году вышла книга под названием “Гуси летят на Север”. Это просто к слову.

Ещё пара наблюдений.

В самом начале эпопеи Константина Симонова “Живые и мёртвые” один из главных героев смотрит на сельское кладбище. Первые дни войны. Разбитые советские войска в беспорядке отступают назад. “Острое и болезненное чувство родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, переворачивала сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему: да, немцы могут прийти и сюда, — и, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно. Такое множество безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права быть чужой”. Тут звучит изначальный голос самого первого и, быть может, самого истинного религиозного чувства — культа предков. Его нельзя подделывать. Симонов попал в самую десятку. Но читаем дальше. Синцов никогда не испытывал такого изнурительного страха: “Если всё так началось, то что же произойдёт со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил, со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты...”⁴

Герой Воробьёва испытывает те же чувства и ощущает ту же боль, но за ними в одном ряду с мыслями о предках и той земле, куда они легли, о детстве — никогда не возникнет и не прозвучит этот страх за коммунизм.

Он неравноценен исконному чувству родной земли, пробудившемуся зову минувших поколений. У него иной источник, и совершенно не тот, что у представлений о земле и предках, — идеология. Впрочем, она тоже во многом определяет поведение. Но Воробьёв “раскапывает” человека до самых иррациональных и сущностных его глубин. Порой до того самого пласта, где зверь и человек неотделимы.

Характерна концовка раннего рассказа “Дорога в отчий дом”: “Важно то, что мы не только живыми оказались, но и в человеческий строй вступили...” Это говорит партизан, в прошлом военнопленный. Автобиографичный для Воробьёва герой. Дальше он продолжает: “...что мы опять превратились в бойцов, а русскими людьми мы оставались и в лагерях”. Ещё одна ключевая точка: “самостоянье” человека неотделимо от его представлений о национальном и общечеловеческом, “родном и вселенском”. Воробьёв выносит на первый план ту корневую основу, когда личность характеризуется в том числе маркером национальной идентичности. Степан Злобин мог бы написать подобный абзац слово в слово, но с единственной разницей: после “русскими” через запятую уточнил бы: “советскими людьми”. В “Пропавших без вести” он постоянно мечется между этими понятиями-эпитетами. Или, если б идеологическая устремлённость восторжествовала, только её и подчеркнул: “оставались советскими людьми”. Во второй части “Пропавших без вести” герой по фамилии Зубов поддерживает другого пленного словами: “И без нас хватит русских людей!” То есть тех, кто, взяв оружие, сменит попавших в плен. А дальше следует фраза: “Советских людей! — поправился он”⁵. Как характерно это “поправился” — не “уточнил”, не “добавил”, не “продолжил”. Исправил собственную оговорку!

Ещё одна из особенностей Воробьёва: в плену, в неволе у него нет восстаний, нет организованного сопротивления, идёт экзистенциальная борьба за человеческое в себе. У него нет торжественных апофеозов, как, например, у Юрия Пиляра в повести “Всё это было...”, когда освобожденные узники концлагеря клянутся перед урной с пеплом, вынесенной из крематория, уничтожить фашизм. Этот писатель по-своему с документальной точностью поведал о жизни за немецкой колючей проволокой. Повесть была опубликована в “Новом мире” в 1955-м, и тогда же рассматривалась в “Знамени”. Член редколлегии журнала критик Александр Макаров подчёркивал в своём отзыве как достоинство, что “дух интернационализма пронизывает борьбу заключённых, которую возглавляют русские пленные и немецкие антифашисты”⁶. Этого самого “духа”, созвучного с официальной советской идеологией, у Воробьёва не будет...

*

Сущность человека, в конечном счёте, определяется у Воробьёва его способностью отдавать, преобразовывая вокруг себя мир. В его записной книжке осталась брошенная туда мысль: “Поскольку человек — существо общественное, его личное счастье тоже зависит от этой деятельности. Чем больше человек даёт людям, тем богаче он сам как личность”⁷.

Можно говорить о том, как изображена Воробьёвым коллективизация, война, как сочетаются в его творчестве “деревенская” и “городская” проза... Но главной его темой при всём этом останется одна — расчеловечивание людей и поиск, как этому противостоять, как обрести себя.

Из дневников писателя перешёл в повесть “Почём в Ракитном радости” один эпизод. Пленные срывают бугор земли, чтобы проложить железнодорожную насыпь. “Один из немцев-конвоиров вырвал из огорода морковь и дал мне”. Вокруг собирается толпа, требует “кусочек соковница”. Морковка делится на круглые дольки. Отовсюду тянутся руки. В конечном счёте, у её обладателя остаётся только верхушка с зелёным пяточком и ботвой. Кому не досталось, отошли, но один пленный упрекнул: “Всем дал, а мне?” И Воробьёв понимает, что на жертву надо идти до конца. Он резко и молча сунул последний пяточок обзолённому бедолаге. Тот подержал и протянул его обратно. “На, не надо мне, — почему-то тихо проговорил он”. “В первый раз в плену я заплакал... и разделал с этим пленным грязный кусочек морковки”.

Отчего эти слёзы?

Люди остались людьми и вдруг осознали это. Оба смогли что-то отдать. В письме от 23 марта 1962 года ленинградскому прозаику Сергею Воронину, возглавлявшему тогда журнал “Нева”, Воробьёв упомянул “Балладу о гвоздях” Николая Тихонова:

“Твой земляк Н. Тихонов в своё время написал: “Гвозди бы делать из этих людей. Не было б в свете крепче гвоздей”. Как фраза это, возможно, и звучит. А в сущности своей это чушь. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни добра, ни успеха...”⁸

Наверное, тогда же в записной книжке Воробьёва появились вот эти его раздумья: “Лишения, страдания и унижения у нас возведены в некую доблесть. Об этом всевозможные жулики от так называемой советской литературы написали множество баллад, романов, ещё чёрт-те чего.

<...> Тихонов написал:

*Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей!*

Всё это в угоду одному: лжи, всесветному обману. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни счастья, ни успеха. Горе человека не красит, и Тихонов это знает, что “несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга”. Это Чехов сказал⁹.

В “Ракитном...” слова писателя “подарены” безмянному пленному Светлоголовому. Герой вспоминает, как они вбивали вдвоём костыли, коими крепятся железнодорожные рельсы. От усталости двоится в глазах. Из-за неверных ударов эти толстые гвозди для сцепления рельс и шпал гнутся.

“Я сказал Светлоголовому, что из пленных получились бы костыли крепче этих. Он с тоской посмотрел на меня и ответил:

— Тюрьмы и страдания не укрепляют человека. Гвозди из него не получатся... Это выдумал какой-то подлый раб в угоду кающимся тюремщикам! И вообще знайте: несчастные люди эгоистичны, злы и несправедливы. Они менее, чем глупцы, способны понимать друг друга... Поняли?

Я не стал возражать, рассуждал ведь замученный человек. В его положении заговоришь и не такое.

— Это сказал Чехов, — пояснил Светлоголовый. — Ну, давайте работать. Конвоир смотрит...”

Это действительно Чехов, рассказ “Враги”. Там так: “Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продельвается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной”. Правоту этого наблюдения полностью подтвердит плен. Разобщённость связанных одной бедой людей показана и у Воробьёва, и у Степана Злобина, который в плен попал в 1941-м и пробыл там почти до самого конца войны.

Стихи Николая Тихонова подчеркивали героику происходящего. А вот, например, как использует их Вера Кетлинская в романе “Мужество”. Здесь, правда, упоминается не “Баллада о гвоздях”, а “Перекоп”. Комсомольцы строят город на берегу Амура, живут в шалашах, недоедают, мёрзнут, и всё-таки, несмотря на происки вредителей, в безлюдных когда-то местах встают заводские корпуса. Один персонаж, Сергей Голицын, не выдержал и сбежал. Но дома у него всё рушится, его считают героем, а он дезертир. И он принимает решение вернуться. Искупить вину. Он возвращается в город в составе воинского батальона. Часть пути нужно преодолеть в сорокаградусный мороз и пургу. Сил герою придают стихи, которые читал один из товарищей, ещё до бегства со стройки: “И мёртвые, прежде чем упасть, делали шаг вперёд...” Оказавшись в Комсомольске, Голицын работает в две смены до лихорадочной дрожи, в обледеневшей одежде, не считая нужным идти в медпункт. К тому принудил его только приказ комиссара, которому пожаловались: “Не в себе парень”.

Вот в каком контексте звучат у Тихонова эти строки:

*За море, за горы, за звёзды спор,
Каждый шаг — наш и не наш,*

*Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми мостами мостят Сиваш!*

*Но мёртвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперёд —
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступить черёд.*

То была эпоха, когда личность обретала ценность лишь в коллективной спайке. Мыслилась деталью, частью целого — опорой или полотном моста, например. Человеку не принадлежит даже собственный шаг. В едином порыве, даже мёртвый, он должен сократить расстояние до цели. Но крепёжная деталь получится из человека плохая. У Тихонова человек сильнее гранаты и пули и полностью принесён в жертву идее, которая превыше всего. Её может олицетворять что угодно: Сиваш, синий пакет, которому посвящена особая баллада, приказ капитана, как в той морской “Балладе о гвоздях”... Он обезличен романтической гиперболой. У Воробьёва никакой романтики. Человек конкретен, часто поставлен перед моральным выбором, не в силах избавиться от страха, разве только какой-то животной силой... Из описания ночного боя в “Убиты под Москвой”: “Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожашие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказываетея, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не “ура” и не “за Сталина”, а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села”.

Надо заметить, раз уж я упомянул Кетлинскую, что она сумела внести в свой роман живые чувства, и это её удача. Здесь героика и строительная тема соседствуют бок о бок с мелодрамой... Впрочем, это уже для другого разговора. Я вспомнил о “Мужестве” только чтобы сравнить, как по-разному два писателя обращаются к Тихонову, к его идеологемам.

Самое высшее в человеке у Воробьёва, повторим, способность отдавать, и, мне кажется, именно поэтому настрадавшийся на войне Вилли Брауде из рассказа “Немец в валенках” несёт пленным хлеб. Он хочет остаться нормальным человеком. Люди не знают языка, объясняются отрывочными словами и жестами. Как сказал бы учёный на высушенном научном языке, с помощью “невербальных средств коммуникации”. В действительности, по свидетельству супруги писателя Веры Воробьёвой, был лишь эпизод, когда какой-то немецкий солдат поделился с пленным сигаретами.

*

Стремление отыскать способ взаимопонимания — вот что ещё человека делает человеком.

Вилли Брауде в рассказе “Немец в валенках” остаётся, кем и был, ефрейтором фашистской армии, и в разговорах с пленными всегда держит дистанцию. А интерес, собственно, у него возник, когда он заметил обмороженные пальцы на ногах у главного героя, в рассказе его зовут Сашей, Александром. Он спрашивает, заговаривая первым: “Шмерц нихт?” — “Не болит?” Но слов мало. Воробьёв описывает его глаза, голубые, “опушенные белыми ресницами”, в них было неверие, удивление и растерянность. Как не болит, должно болеть! Пленный хоть и понял смысл вопроса, но не признался. Зажмурив глаза, он ждёт удара. “Лжэш”, — отвечает ефрейтор. Но он не бьёт, он достаёт из кармана брюк сигарету и, тщётно щёлкая зажигалкой, пытается прикурить, чтобы затем отдать пленному. Продолжается обмен короткими фразами. Это тягостный разговор, не сулящий пока ничего хорошего. На второй вопрос, болят ли ноги, герой отвечает: да, и со злостью переспрашивает: “Тебе от этого легче”? Ответ не должен быть понят, только интонация. Уже и до этого эпизода Воробьёв обозначил несколько непониманий, когда слова зависают в пустоте и остаются без ответа. Ну как немец поймёт слова другого пленного “хрен тебе в сумку” и как Саша должен перевести? Это нежелание

общения и знак отчуждения. Словесный хаос, равный хаосу земному, творящемуся вокруг. Узнав, что пленным не дают воды (заданный по-немецки вопрос был понят), ефрейтор лишь ругается, но за этим его “шайзе” стоит всё-таки сочувствие. Речь Брауде передаётся в рассказе русской транскрипцией. Ответы звучат по-русски. Но понимание достигается. Спросив, все ли в бараке пытались бежать, немец “посеменял по доскам нар короткими пальцами”. Этот коммуникативный жест рукой усиливается деталью, вроде бы ненужной — “пальцами, поросшими медным ворсом”, однако от этого становится только более зримым и явственным, конкретным. Вряд ли Брауде мог понять ответ. “Все, только не в одно время и из разных лагерей”. Это не так просто изобразить руками и мимикой.

И тут оба собеседника чувствуют пронизывающую боль в пальцах, стоило им обоим чуть приподнять ноги. Воробьёв описывает глаза: у ефрейтора герой видит в них “какой-то опасный интерес” к себе, “как бы надежду на что-то тайное”. Что с тобой? Ты чувствуешь ту же боль, что и я? Но пленный злится, говоря: “Теперь тебе легче, да?”. Ему кажется, что ефрейтору должно быть приятно от созерцания чужой боли. А Вилли-то ищет другое. То, что делает немец дальше, свидетельствует, что он не понял вопроса.

“Он посунулся ко мне на руках, не отпуская ног, и сказал торопясь:
— Их бин бауэр, форштеест? Ба-у-эр. Унд ду?”

Фраза повторяется в рассказе дважды. И ключевое слово — крестьянин, которое пленный знает по военному словарю, тоже... Во втором случае оно разбивается на слоги — приём экспрессионистской поэтики. И снова описывается интонация, мимика лица: немец говорит об этом, “как о светлом, о котором он внезапно вспомнил”.

Надо что-то ответить, всё равно что.

“Может, потому, что у меня всё время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника”. Слова не помогают, только жест: “Я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым молотком”.

Вилли догадался и переспросил по-немецки: “Шумахер?” Ответ — кивок головой, жест.

Так мало-помалу люди находят общее: профессия или, по-канцелярски, социальный статус, обмороженные ноги, дальше, если угодно, вши — еще одна мука. Постепенно через преодоление непонимания открывается единство мирного труда и единство страдания. Не то чтобы Вилли проникается сочувствием, угощая пленного хлебом. Это ещё и жест, означающий: “Мы оба — люди. Нам надо жить”. Проанализировать шаг за шагом ту коммуникативную логику, которую показал Воробьёв, значит написать отдельную статью, превышающую размерами сам рассказ. Герои в своём диалоге добьются, как кого зовут по именам. Это новое сближение. Дальше снова повторится хаотическое “хрен в сумку”, появится военный инженер Тюрин, обвиняющий героя, что тот, дескать, подлизывается к немцам, принимая хлеб. Надо было бы отвергнуть угощение. Сам герой будет делиться хлебом с товарищем, который считается доходягой... Между ним и Тюриным последует тяжелое объяснение. Или, если просторечием, “разборка”. Но когда в комендатуре станет известно, какое милосердие оказывает Вилли Брауде пленным и в барак заявятся унтер-офицер с фельдфебелем, чтобы выяснить, кому немец давал хлеб, когда они начнут бить Тюрина, да так, что он свалится с нар, тогда Саша пойдёт на поступок, близкий к самопожертвованию. Он заявит, что хлеб ел только он один, причём смешивая два языка. “Брот брал я!.. Это я один! Их” (т. е. *ich*, “я”. — **В. Б.**). Вилли получит удар по губам, герой — по затылку. Этим объединяющим людей унижением рассказ завершается. Они оба остаются отныне связанными чем-то высшим и чем-то жертвенным, что не так легко определить словами. И героя не покидает мысль о немце даже после войны: что с ним стало?

Похожий персонаж есть и у Злобина в “Пропавших без вести”.

Немецкий конвоир на кухне ударил пленного прикладом винтовки. Но другой, подскочив к нему, сумел выхватить её из рук и разрядить. Роли поменялись. Пленный (дальше выяснится его фамилия — Муравьёв) требует, чтобы немец вместе с ним шёл к коменданту лагеря, а для конвоира его оплошность означает отправку на фронт. Он обещает никогда никого больше не бить. Прямо умоляет. Немецкие фразы в отличие от Воробьёва Злобин передаёт латиницей. Даже саксонский диалект подчёркивает, когда говорит незадачливый Отто Назель (*isch* вместо *ich* в местоимении “я”). Немецкий язык

Муравьёва передаётся кириллицей. Графика подчёркивает радикальное различие между людьми. Воробьёв к такому приёму не прибегает. Пленный возвращает винтовку. Разговор продолжается. И он идёт по той же схеме, что и у Воробьёва: выясняется, что немец — “арбайтер” (рабочий), а пленный — “тишлер” (столяр), и когда становится ясным, скажем по-протоальному, социальное положение, конвоир в знак примирения угощает Муравьёва сигаретой. Отто Назель не получил в романе дальнейшего развития; он просто человек, такой же трудяга, как Вилли Брауде, который не желает воевать и совершенно к этому не призван и не пригоден. Он не носит пленным хлеб, но своё обещание держит, и делится другим — нужными новостями, даже, видимо, не подозревая, насколько нужными. Цена их равна хлебу. Сталинград не взяли, а что об этом трубят вокруг, играя по лагерному радио победные марши — брехня...

Отто Назель будет убит пленными, задумавшими побег, но другой группой, не теми, с кем у него произошла стычка в столовой.

Диалог на двух языках в самом начале “Это мы, Господи!” открывает тему человеческой разобщённости и вражды. Но здесь в разговоре выясняется только то, что немец и пленный — лейтенанты, благо слова звучат одинаково. Общение ни к чему не приводит. Сергей, главный герой, обрывает его, не желая говорить.

“Рукопись возвращаем...” Глазами издателей и редакторов

Повесть “Это мы, Господи!” была написана за месяц в конце 1943 года в доме № 8 по улице Глуосно в Шяуляе, где после побега вынужден был скрываться Воробьёв. Требовалось затаиться. Приближалась Красная армия, в городе была усилена охрана, часть партизан из группы Воробьёва погибла, другие были арестованы. Все тридцать дней он не отрывался от стола. Рукопись называлась тогда “Дорога в отчий дом”. Её вместе с будущей женой Верой писатель закопал в землю в железной банке. Бумага не пострадала, в 1946 году Воробьёв послал повесть в “Новый мир”. Предполагалось, что это станет первой частью большого романа, и вопрос о публикации был отложен. Но замысел воплощён не был, и в итоге она впервые увидела свет уже после смерти писателя, когда её обнаружили в РГАЛИ, в десятом номере журнала “Наш современник” за 1986 год.

В 1948 году Воробьёв написал другую “Дорогу в отчий дом” — небольшой рассказ от имени партизана, бежавшего из плена, и тогда же “Седой тополь”. В 1952-м — “Гуси-лебеди” (первый вариант названия — “Бессмертие”), “Подснежник”, “Хи Вон”. Два последних рассказа знаменуют детскую тему в его творчестве. В 1953-м появился “Ничей сын”. В 1954-м — “Белая ветка”. Первоначально рассказ назывался “Матвей Горинов”, так звали главного героя. В 1955-м появился “Ермак”, его напечатал журнал “Нева”. Это была первая общесоюзная публикация Воробьёва. Тогда же был написан и рассказ “Синель”. В 1956 году у писателя выйдет в Вильнюсе первый сборник, шесть рассказов: “Ничей сын”, “Подснежник”, “Бессмертие”, “Рассказ о моём ровеснике”, “Тени прошлого”, “Хи Вон”, “Лёнька”. Воробьёв называл его самой слабой, но самой любимой своей книгой.

Одновременно он завершает работу над повестью “Одним дыханием” о становлении советской власти в послевоенной литовской деревне, борьбе с “лесными братьями”. Её тоже опубликовала “Нева”. В 1961 году повесть выйдет отдельной книгой в издательстве “Советская Россия”.

Сохранилось несколько внутренних издательских рецензий на произведения Воробьёва тех лет. Интересно посмотреть, какими виделись рассказы в редакционных кабинетах столичного “Советского писателя” и некоторых журналов.

В апреле 1957 года Воробьёв предложил журналу “Знамя” “Седой тополь”. В сопроводительном письме он сообщал:

Я убеждён, что рассказ этот нужен жизни, потому что он — быть, потому что случается такое на земле редко, и всем нужно, чтобы это никогда не повторилось.

Я — член ССП (Союза советских писателей. — В. Б.); в лагере, о котором идёт речь в рассказе, пробыл три месяца, затем командовал Отдельной партизанской группой в Литве.

*Но это, пожалуй, Вам не интересно.
Пожалуйста, сообщите мне о своём решении*¹⁰.

Я стал искать, что ему ответили. Рассказ был отклонен, в “Знамени” он не печатался. Была бы интересной аргументация, почему? Но, это бывает, перепутал год, стал смотреть в архивах журнала всё за 1955-й. Ответа, разумеется, не обнаружил. Но, и так тоже случается, вместо того, что ищешь, отыскиваешь нечто не менее любопытное.

Привлекла моё внимание копия одного письма неизвестному автору. Имени не было, только его фамилия – Корытов. Судя по всему, он прислал в журнал роман о солдате, попавшем в плен, написанный от первого лица. Рецензент М. Кваснецкая разъясняла причины, по которым его отклонили. Её ответ датируется 1 июля 1955 года.

“Вместо того чтобы показать, как в тяжёлых испытаниях закалялся характер героя, рассказать о том, как он учился мужеству и стойкости у своих старших товарищей-коммунистов, вы на первый план выносите описание зверств гитлеровцев, со смакованием рассказываете о нечеловеческих мучениях, которые выпадают на долю солдата. У читателя создаётся впечатление, что основная задача произведения – показать издевательства молодчиков Третьей империи. Описание зверств, страданий, убийств становится самоцелью повествования. Это нагромождение ужасов заслоняет в произведении главное – характеры героев. Вы не сумели показать, что никакие зверства не могут сломить мужество советских патриотов.

*Герой повествования, молодой солдат из Ивановской области, с доскональной подробностью рассказывает о своей жизни в фашистском плену. Но несмотря на тщательность пересказа, на обилие мелких подробностей, перед нами не встаёт волевой, с высокими моральными качествами образ советского воина. Герой произведения – пассивный, безвольный человек, живущий только своими узкими, индивидуальными интересами, думающий лишь о своём спасении. Вам не удалось показать стойкость, мужество наших людей, которых не могут сломить никакие зверства и провокации. Персонажи же вашего произведения часто теряют человеческое достоинство, ведут буквально животное существование. Среди военнопленных нет сплочённости, нет товарищества – качеств, которые всегда отличают советских людей. Удивляет предельная наивность действующих персонажей. Так, военнопленные склонны доверять людям, которые открыто прислуживают фашистам”*¹¹.

Рецензент не поинтересовалась, откуда такое знание “мелких подробностей”. Ответ заканчивался выводом, что автору не нужно заниматься литературой, и начинающий прозаик бездарен, как пробка... Жаль, что названия романа в рецензии нет. Я бы сейчас с интересом его прочёл, если б можно было отыскать рукопись, а её, наверное, вернули. Пусть он действительно не отличался художественными достоинствами, но стал бы документом эпохи и мог обрести место в каком-нибудь сборнике. Человек, прошедший плен и написавший, как на душу ляжет, действительно не обладая литературным даром, мог после такого отзыва уничтожить отпечатанный на машинке текст... Судя по всему, в большую литературу Корытов не “прорвался”. Но он с полным правом мог возразить Кваснецкой теми же чеховскими словами, что повторяет Светлоголовый.

Всё, что написано в этой рецензии, или, по крайней мере, бóльшую часть, можно при желании применить и к Воробьёву. У него тоже никто не учится в плену “мужеству и стойкости”, у него тоже персонажи теряют человеческое достоинство, у него тоже нет среди пленных никакой особой сплочённости... Он получал не менее жёсткие отзывы. Но ему был дан талант такой силы, что броневой критикой его не сломить. Интересно и само совпадение, как не знавшие друг друга писатели подходят к теме плена, испытав его на себе. И то, что рецензент задаёт здесь чёткий шаблон, как писать и о чём писать.

Если кто-то попробует порыться в электронных каталогах центральных российских библиотек, встретит книги Маргариты Георгиевны Кваснецкой об актёрах и режиссёрах – Алексее Баталове, Кларе Лучко, Всеволоде Санаеве, Тенгизе Абуладзе... Да, это один и тот же человек. В середине 1950-х она была

внештатным рецензентом “Знамени” и училась в заочной аспирантуре Института тетра, музыки и кинематографии в Ленинграде. Тогда ей было тридцать. Ту войну, какую извели Корытов и Воробьёв, она знала понаслышке...

Но что всё-таки произошло с “Седым тополем”?

В конце мая 1957 года рассказ попал в руки двадцатипятилетнему студенту Литературного института, другому внештатному рецензенту “Знамени” Феликсу Льву. Он прочитал, отпечатал на машинке отзыв на четыре страницы, ни единого негативного замечания. После короткого вступления, пересказав в общих чертах содержание, отметил:

“Пожалуй, самое страшное и вместе с тем самое поучительное в этом рассказе, что всё это не плод литературной фантазии, а суровая правда. В письме, приложенном к рукописи, К. Д. Воробьёв сообщает, что рассказ этот – был. Автор “сам пробыл три месяца в лагере, о котором идёт речь в рассказе”.

Итак, в основе своей рассказ, очевидно, документален (об этом же, кстати, говорит и подзаголовок – “быль”). Но, разумеется, фактически материал прошёл значительную литературную обработку – иначе мы имели бы не рассказ, а записки, воспоминания или что-либо в этом роде. Всё же, думается, рассказ К. Воробьёва очень близок к этому жанру, так как главное в нём не вымысел и не литературная обработка, а самые факты, их документальность. Этим я вовсе не хочу принизить художественные достоинства рецензируемого рассказа, которые бесспорны. Живой характерный язык героев, меткие психологические штрихи и детали в описаниях природы, обстановки, портрета, точные, яркие сравнения – всё это делает повествование очень убедительным, “весомым, зримым”¹².

Подтвердив аллюзию к Маяковскому конкретными примерами, Феликс Лев указывал, что в майском номере “Знамени” уже опубликованы записки А. А. Никифоровой “Это не должно повториться” (военврач III ранга Краснознамённого Балтийского флота, она провела три года в плену в концлагере Равенсбрюк). Тематика двух произведений близка. Вряд ли “Седой тополь” следует помещать в ближайшем номере. Это с точки зрения внутриредакционной логики верно. “Но, во всяком случае, – продолжает рецензент, – что рассказ К. Воробьёва заслуживает самого внимательного отношения... Думается, не исключена возможность опубликовать его в одном из последующих номеров журнала”¹³.

“Тополь” прошёл первый тур отбора, когда внештатными рецензентами отсеиваются графоманы, и лёг на стол тогдашнему редактору отдела прозы В. Уварову. Через несколько дней он отпечатал на машинке без всякой комплиментарности:

Уважаемый тов. Воробьёв!

Недавно редакция журнала “Знамя” опубликовала записки А. Никифоровой “Это не должно повториться...” и воспоминания Анвайер о гитлеровских концлагерях (имеются в виду “записки о плене” Софьи Анваер, опубликованные в № 9 за 1956 г. под заголовком “Незабываемое”. – В. Б.). Кроме того, в портфеле редакции находится ещё одна рукопись, уже одобренная и по существу принятая к печати, о сопротивлении советских людей в фашистском плену, которую редакция сможет опубликовать лишь в конце 1957 года, а возможно даже и позже.

Всё это и вынуждает нас вернуть Вам рукопись Вашего рассказа “Седой тополь”, тематически и по материалу повторяющий вещи вышеназванные.

Всего Вам доброго¹⁴.

“Одна рукопись” – это романа Степана Злобина “Пропавшие без вести”. Журнал проанонсировал его ещё в 1956-м, но не опубликовал.

Так получилось, что, работая над статьёй, я случайно посмотрел советский фильм “Вторая попытка Виктора Крохина” Игоря Шешукова. Там показана коммуналка, где растёт мальчишка, главный герой, будущий чемпион Европы по боксу. И есть в этой квартире один жилец, участковый врач Сергей Андреевич, роман пишет. Закончил, отнёс в издательство, и книгу ему вернули. Сидит он на кухне и плачет. “Сказали, что всё это не типично. Что так

не бывает. Я воевал, а они говорят: так не бывает!” И, пришибленный, жжёт в печке листы один за другим. . .

Отчего-то подумалось: так мог бы поступить кто угодно. Может, тот же Корутов. Ему ответили примерно то же, только пространней. Но не Воробьёв. Он ничего не уничтожал и в редких случаях что-то правил. Это мы потом увидим. У него было мужество оставаться одиноким.

Об этом мужестве обмолвился Гёте в разговорах с Эккерманом. Малые таланты кажутся большими оттого, что “служат рупором отдельной партии”. Им всё заменяет ненависть. “Так и в жизни нам встречается целая масса людей, которым недостаёт характера, чтобы оставаться в одиночестве; эти тоже стремятся примкнуть к какой-нибудь клике, ибо так чувствуют себя сильнее и могут что-то собою представлять”. Чтобы казаться сильнее и значительнее, писатели сбиваются в стаи. Гёте приводил дальше в пример Беранже. Это, по его словам, талант, которому “достаточно самого себя”. “Он вполне удовлетворяется своей внутренней жизнью, внешний мир ничего не может дать ему, так же как не может ничего у него отнять”.

Это было сказано 2 мая 1831 года.

Ничего не изменилось.

В устах Гёте это вовсе не значит, что художник должен жить сам по себе. Нет, он в полной мере реализуется, только связав свою судьбу с судьбой народа, только если слово его отзовется в национальной судьбе, а судьба эта — в его слове. “Бёрнс велик потому, что старые песни предков были живы в устах его народа. . .” О Воробьёве можно повторить то же.

Писателю и теперь и, наверно, всегда потребуется характер, позволяющий быть одиноким. Его нужно воспитывать, если недостаёт. Писательская состоятельность определяется не количеством, а “прочностью” написанного, то есть востребованностью авторского труда в поколениях.

*

В 1955 году Воробьёв отослал в издательство “Советский писатель” повесть “Одним дыханием”. Она пришла сюда в начале года, в марте её рецензировал литературовед Марк Борисович Чарный. Он отметил, что повесть для советской литературы довольно нова. События происходят в пределах одной волости, “но автору удалось довольно выразительно показать это своеобразие; и то, как воспрянуло с приходом советской власти веками угнетаемое, забитое, полуголодное бедное и среднее крестьянство, и ожесточение кулачья, теряющего под собой почву, и подлую роль ксёндза, вдохновителя националистско-фашистской банды”¹⁵.

Старый добрый социологический подход.

Затем во внутренней рецензии следует пересказ сюжета и основных характеров. Если они, персонажи, и не отличаются особой оригинальностью и глубиной трактовки, “то, во всяком случае, автор обладает той культурой литературного письма, умением интересно рассказывать, которые делают его произведение вполне достойным печати. Оно с пользой будет прочитано многими нашими читателями”¹⁶.

Чарный приводит дальше примеры “хорошо подмеченного жеста, квалифицированной живописи словом”. Пропущу ссылки на страницы машинописного текста повести, указания на отдельные понравившиеся места. Рецензенту хочется, чтобы “в повести было хоть несколько страниц общеисторического характера, которые говорили б о пути, пройденном Литвой от полукOLONиальной окраины царской России через буржуазно-фашистскую “независимость” — игрушку англо-американских империалистов — до социалистической республики. Это было бы полезно не только потому, что средней советский читатель может и не знать, что такое “сметоновский режим”, “сметоновское время”¹⁷, о которых неоднократно упоминается в повести. Такое включение событий повести в историческую перспективу придало бы ей большую глубину и большую познавательную ценность”¹⁸.

Чарный клеймит “склонность к вычурам”, находит параллели с символами и авторами первых советских лет. Ну, например, вместо “ожидание” Воробьёв пишет “ожидь”, “призыв” превращается в слово женского рода — “призывь”, и появляется “томная призывь горлинок” (гм, а мне, наоборот,

нравится!). О полях говорится, что они “отметелились горячей и пахучей отцветью ржи и пшеницы”. Но это же хорошо, очень образно: пыльцу смелó, подобно метели, бурно и порывисто. О Чапайтисе, о его душе, сказано, по мнению рецензента, неуклюже: в ней “в крутой непромышленной замеси отставался большой разговор с Андреем”.

Это игра словом, считает рецензент, и она приводит к надуманным красотам, к искусственной образности. Следуют новые примеры. Чарный отмечает канцеляризм и небрежности, в общем-то легко поправимые, опасаясь, не пропадает ли за образной курской речью, какой говорит конюх Тихон Матвеевич, характерное именно для литовских крестьян? “Задача русского писателя состоит здесь в том, чтобы, сохраняя крестьянскую образность, суметь выявить колорит именно литовско-крестьянской речи. Задача эта нелёгкая и одним упоминанием “Езус-Мария” её не решить”¹⁹.

Вторым рецензентом был уже известный писатель Алексей Иванович Мусатов. В 1950-м за повесть “Стожары” он удостоился Сталинской премии третьей степени.

Изложив основную сюжетную линию, он отметил, что наиболее выразительно описаны враги – кулаки Бетенас и Спурга, ксёндз Каролис Марма и главарь “лесных братьев” Юстас. “В образах кулаков хорошо передано их звериное нутро, хитрость, стяжательство, желание всяческими средствами сохранить старый уклад жизни”²⁰. “Отравление ксендзом бандитов, пришедших сдать советской власти, а затем и убийство родного брата бандита Юстаса хорошо раскрывает коварство и звериный облик служителя католической церкви”. “В образе главаря лесных братьев Юстаса Мармы автору удалось убедительно показать обречённость бандитской организации, её беспочвенность, враждебность интересам трудового литовского крестьянства”²¹.

Всё тот же типичный социологический подход.

Отмечает рецензент и положительные образы. Андрей Выходов ему видится как “живой инициативный партийный работник, любящий и понимающий литовский народ”. Этот герой учит работать и прислушиваться к голосу масс председателя волостного исполкома, умеет общаться с крестьянами и заслужить их уважение. К сожалению, Андрей, по мнению Мусатова, мало показан в действиях и поступках. Вызывает недоумение его неспособность “своевременно разгадать и разоблачить вражескую сущность Каролиса Мармы”, ксёндза. Слишком скупо рассказано о личной жизни Андрея, о его погибшей жене партизанке. Рецензенту показалось, что не разработан, хотя интересно намечен, председатель волисполкома Чапайтис, а также важные для повести образы середняков и бедняков. “В целом автор пишет достаточно литературно и грамотно, но порой он начинает злоупотреблять напыщенными, высокопарными фразами, ложно-красивыми оборотами и ненужными заумными словообразованиями”²². Следует на всю страницу список. Вывод: рукопись следует чистить, а издательство должно помочь автору её доработать, повесть в целом достойна внимания.

Заведующий редакцией русской советской литературы В. Сытин направил Воробьёву письмо с советом довести рукопись до ума и вернул её вместе с копиями отзывов рецензентов.

25 августа 1957-го Воробьёв выслал в “Советский писатель” сборник рассказов “Седой тополь”. На его сопроводительном письме стоит резолюция заведующего редакцией русской советской прозы И. Козлова: “Послать на рецензии т. Нагибину или Матову”. Вместо Нагибина рецензентом стал писатель Арсений Рутько, успевший побывать за решёткой в 1937-м, автор книг о революции и гражданской войне, повестей, вышедших в серии “Пламенные революционеры” в 1980-х, о Луизе Мишель и Эжене Варлене. В сборнике было 16 рассказов, объем его составил 370 машинописных страниц.

4 сентября 1957 года Рутько закончил рецензию, выделив из военных рассказов “Седой тополь”. Он пересказывал его содержание на трёх страницах и сделал вывод, речь о главных героях Климове и Воронове: “Автор ничего не пытается объяснить читателю, но читатель понимает, что теперь эти люди, эти два человека могут стать друзьями на всю жизнь, как бы она коротка или длинна у них ни была. У обоих этих бессильных, уже не ходящих, а ползающих по земле людей в груди всё ещё живёт мужественное и честное сердце, не способное на подлость и предательство. Автор не пытается приукрасить своих героев, он не пугается их страшного нечеловеческого облика, – тем ярче, тем

ослепительнее сияет за этими рубищами то подлинно человеческое, что делает иногда человека бессмертным”²³.

Высокую оценку получили рассказы “Гуси-лебеди”, “Подснежник”, “Сильнее смерти”. Из “невоенных” рассказов — “Ничей сын”, “Первое письмо”, “Лёнька”. Самые слабые рассказы — “Урок”, “Хи Вон”, “Чарли Барклей” (Воробьёв впоследствии сделал заголовком подзаголовок — “Рассказ о моём с тобой друге”).

Вывод: “Сборник может представлять для редакции издательства интерес при изъятии из него рассказов “Урок”, “Матвей Горинов” (уж очень банальна рассказанная автором история), “Хи Вон” и “Рассказ о твоём и моём друге” (так в тексте. — **В. Б.**). Если эти вещи изъять, в сборнике ещё останется около десяти печатных листов, но тогда произведения, входящие в сборник, будут как бы дополнять одно другое, не будут эмоционально противоречить друг другу. Получится очень хорошая, сильная книжка о советском человеке, о его мужестве и патриотизме, о его высокой и чистой морали”²⁴.

Что ж, это очень положительная рецензия.

В “Ракитном” есть эпизод, когда герой, приехавший на родину писатель, вспоминает, как завершил повесть о войне, в которой не величался ни разу Сталин. “В рукописи было пять ученических тетрадей. Марите сшила их суровыми нитками — одна к одной. Стояла уже глубокая осень, и для того, чтобы все было ладно, чтобы все сошлось у нас на одном хорошем, мы послали повесть в московский журнал с мягким осенним названием. Ответ пришёл зимой. На девяти страницах рецензент с надзирательской фамилией Матов злобно глумился над тем, о чем я писал. Пленных он называл предателями, а меня Кузьмой: видно, корень моей фамилии пугал его и ярил...”

Второй рецензент сборника забытый ныне Владимир Николаевич Матов действительно написал внутреннюю рецензию на девять страниц. Он благополучно печатался, выпускал книги, но в литературе, может быть, останется благодаря тому, что в “Ракитном” его упомянул Воробьёв. Рассказы самого Матова напоминают обложки тогдашнего “Огонька”, в них человек всегда счастлив, весел, радостен, торжественен, способен на преодоление. Всё это прекрасно вписывается в концепцию “исторического оптимизма”, которую озвучил в 1964-м критик Григорий Бровман, “лягнувший” Воробьёва, Носова, Солженицына в первом номере журнала “Москва”. Об этом мы ещё поговорим. Матову можно поставить в заслугу продолжение старинной русской литературной темы — охоты. Но то, что он прочёл у никому тогда не известного Воробьёва, было ему глубоко чуждо и непонятно. Ради справедливости нужно сказать, в его рецензии не говорится о пленных как о предателях.

Она начинается с пересказа “Матвея Горинова” (он же “Белая ветка”). Две с половиной страницы — это изложение сюжета, пересыпанное цитатами, иронией: какой, мол, бездарный автор. “Даже из краткой передачи содержания видно, что это плохой рассказ. Плоха, потому что надумана, если можно так её назвать, идея рассказа, что, дескать, необязательно ехать на целину, можно и в другом месте найти работу по душе. Неужели этот внутренний конфликт типичен, общественно значителен? По-моему, вовсе нет в жизни такого конфликта. Автор искусственно создал его, чтобы было о чём написать рассказ, в котором хоть как-нибудь упоминалась бы целина. Искусственны, надуманы, подчас даже смехотворны эпизоды рассказа, характеристики персонажей, неправдоподобна и ходульна их психология и взаимоотношения, точно автор задался целью чем бы то ни было, только бы удивить, поразить читателя. А читатель хочет много — жизненной правды. Как раз её-то в рассказе нет. Под стать остальному и вычурный язык с причудами, придуманными словами. Когда читаешь про “белый дым отцвети”, про “галочий грай” и подобное, больно становится за наш прекрасный язык, в котором и нет таких слов, как “отцветь” или “грай”, и вспоминаются написанные более ста лет назад великим основоположником русского реализма строки: “... этот человек пишет: благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать: лошадь...”²⁵.

Матов выбрал не самый сильный рассказ, разнёс в пух и прах и подключил “тяжёлую артиллерию” — Пушкина. В “Ермаке”, по его мнению, описывалась по меньшей мере “оригинальнейшая судьба крестьянина”. В “Синели” много чувственности и “недостаёт простой житейской правды” (опять!). Вера

Воробьёва уже после смерти писателя в своём послесловии “От составителя” в книге “Заметы памяти” сопоставила этот отзыв Матова с совершенно противоположным мнением литературного консультанта журнала “Юность” Исидора Винокурова²⁶. Воробьёв посылал сюда “Синель”. И получил ответ, который в “Заметах” приводится не полностью. Его копию удалось мне отыскать в архиве журнала. Воробьёва тогда отнесли здесь к “начинающим писателям” и подшили в соответствующую папку.

“Не без огорчения возвращаем мы вам рассказ “Синель”, — писал И. Винокуров в конце августа 1956 года. — Дело в том, что рассказ понравился в редакции. Но журнал наш “малолитражный”, а материала, ожидающего своей очереди, накопилось столько, что дай бог опубликовать его в течение будущего года. Держать Ваш рассказ в портфеле в надежде, что положение изменится — нет смысла. <...> Думается, что “Синель” может выйти в свет гораздо раньше. Рассказ Ваш обладает всеми литературными достоинствами, чтобы найти своё место в каком-либо другом журнале. Возвращаем Вам рукопись, желаем от души всяческого успеха”²⁷.

Ну что тут скажешь?

Вернёмся к Матову. “Тени прошлого”, считал он, были бы интересны, если б их реалистичней подать. Напомним, что первоначальное название повести — “Одним дыханием”.

“Тому же, что написано, не веришь, поскольку автор употребил или резко чёрные, или белые краски, не говоря уже о том, что от рассказа остаётся впечатление перепева. Характеристики написанных без полутонов персонажей грубо плакатны, а тяготение автора к внешнему эффекту, стремление поразить читателя при явном недостатке живописи, показа, приводят даже к тому, что персонажи с несколько непривычными именами просто путаются в представлении читателя. Сюжет как будто очень острый, а не увлекает несколько — наперёд знаешь, как обернётся дело. А того, что могло бы создать художественное впечатление — живых людей, подлинных деталей — нет. Их заменяют трафареты”²⁸.

“Ничей сын”, как и “Синель” — не увлекательная, а просто слабая сентиментальная проза. Ощущения достоверности она тоже у Матова не вызывает, как и “Рассказ о моём с тобой друге”. Здесь “имеется, наконец, концовка под Хемингуэя, но, конечно, нет Америки. И по поводу этого длинного рассказа хочется напомнить, как ещё Чехов советовал молодым писателям не описывать путешествие на подводной лодке на Северный полюс и подобное, но то, что окружает писателя, что ему хорошо знакомо и душевно близко. То есть то, что может и должно быть предметом наблюдений писателя; то, от чего художник может получить впечатления, которые, возможно, окажутся достаточно яркими, чтобы художнику захотелось запечатлеть их в образах”²⁹.

Просто высказаться Матову кажется мало. Нужно выделить мысль, и он прибегает к эмфатическим средствам: подчёркивает слова и фразы. Учит, как надо писать. И снова в дело вступает “тяжёлая артиллерия” — Чехов.

По той же причине Матов считает неудачным рассказ “Хи Вон”. Воробьёв не знает Кореи. Надо, мол, располагать живыми деталями, которые создавали бы иллюзию подлинности, а рецензент их не увидел³⁰. “Гуси-лебеди” если не “перепев” “Звезды” Эммануила Казакевича, то навеянный ею рассказ. В нём есть “малоубедительная и излишне сентиментальная сверхлюбовь и затуманенный, но всё-таки очень благополучный конец”. “Подснежник” — “сладковатая история”. В “Седом тополе”, в рассказе, которому Рутко отвёл три восторженных страницы, Матов не понял основную идею, о чём и заявил одной строкой. Общий вывод: правдивые и яркие характеры в рассказах Воробьёва отсутствуют, его персонажи лишены индивидуальности и даже плохо запоминаются, автору слишком присуще тяготение к “сюжетности”, недостаёт скупой и суровой простоты, жизненной правды. “Я не считая возможным дать сборнику рассказов К. Воробьёва “Седой тополь” положительной оценки”, завершается рецензия³¹.

Воробьёву переслали копию. В архивном деле сохранился заверенный подлинник — машинопись, первый экземпляр, цвет букв чёрный, яркий. Видно, в пишущую машинку Матова заправлена была совсем свеженькая лента...

Итак, два взаимоисключающих отзыва.

Что делать редактору? Третьим, кто прочёл сборник Воробьёва, стал Борис Евгеньев, автор вполне правоверных советских повестей, детских

произведений и книги о Радищеве, вышедшей в 1949 году в популярной серии “Жизнь замечательных людей”.

Он тоже растерялся от того, что прочитал. Готовил свой отзыв старатель-но, отпечатанный на машинке текст правил зелёными чернилами. Поскольку он сам работал в издательстве, мог себе позволить не перепечатывать начи-сто всё заново. По собственному признанию, рассказы произвели двойст-венное, даже странное впечатление.

“Автору порой нельзя отказать в известном профессиональном умении занимательно построить сюжет, в умении несколькими штрихами нарисовать портрет героя, отобрать работающие, а потому запоминающиеся детали, в смелости, с которой автор берётся за разработку сложных и ответственных тем, наконец, просто в живости и бойкости пера, в занимательности рассказ-чика, проявленной, правда, в одних случаях более, в других случаях менее успешно. Но наряду со всеми этими, безусловно, привлекательными качест-вами рассказов К. Воробьёва, в них, во всех без исключения, то и дело стал-киваешься с такими срывами, с такими провалами в безвкусицу, в пошлова-тые красоты, в литературщину самого дурного тона, в штамп, схему, что порой просто руками разведёшь! К тому же нередко режут слух языковые ог-рехи, обильно рассыпанные по страницам рукописи”³².

Всё это, мол, ведёт к сомнениям в писательском профессионализме.

К чему-то Воробьёв прислушался и поправил, но большую часть замеча-ний проигнорировал. Их в рецензии целый список.

“Стихи... ей нравились едва уловимой грустью о непотерянном”, – отме-тил Борис Евгеньев стиливую оплошность в рассказе “Гуси-лебеди”. Воробь-ёв исправил, стало: “о непережитой юности”. Оттуда же описание домика, подмеченное Евгеньевым: “Смежив ставни, он был как задремавший большой ребёнок, и окутавший его лунный сумрак пахнул увядшими цветами, как ле-карствами...” Это Воробьёв оставил. “Пряжа будничных дней однотонна, но из них ткались годы коврами с неповторимыми рисунками событий”. Евге-ньеву это не понравилось. Воробьёв править не стал. В рассказе предложе-ние начинается с “Казалось, что...”, и далее по тексту. Эти “ковры”, они в воображении Сергея Марьянова, это “спрессованное”, сжатое в рисунок, в иероглиф, время. Герой имеет право увидеть его так. В списке “нелепос-тей” у Евгеньева окажется и фраза из “Синели”: “Мокрая трава по-живому пи-щала у нас под ногами”. “В насыщенной звёздами ночи жила чуткая тишина”. Евгеньеву не нравится, видимо, глагол, относящийся к неодушевлённому су-ществительному. Как тишина может жить? Между тем у Воробьёва предложе-ние на “тишине” не заканчивается, и полностью звучит так: “В насыщенной звёздами ночи жила чуткая тишина, и тёплой пряностью недавно прошедше-го лета ещё дышали облегчённые поля”. У него в рассказе всё живёт. Всё опо-этизировано. И на этом фоне ещё большей нелепостью выглядит убийство ле-бедей. Потому что рассказ о любви, и только ею движется и создается жизнь. Это притча-метафора о неуничтожимости жизни, которая создается Любовью. Нужно помнить, сам Марьянов пишет стихи и на многое вокруг смо-трит глазами поэта.

Воробьёв оставил совершенно нелепую (вроде бы) фразу из “Дороги в отчий дом”: “По причине охамления тыловых немцев”. Но это рассказ парти-зана, о чём сообщает и подзаголовок. И здесь делается особый акцент на речь героя и её особенности. Он объясняет, почему партизанам везло: от личной злобы, потому что чудом удалось бежать из плена, “по причине охамления” немцев, поскольку те находились далеко от фронта и мало чего боялись, не были осторожны... Разумеется, ничего не стоит исправить этот короткий отрывок текста. Тем не менее, Воробьёв оставил этот канцелярский штрих, годящийся для протокола. Что же, быть может, герою приходилось рассказывать о партизанской деятельности и для протокола, и тогда его судь-ба видится в особом контексте. А вот этот отрывок из “Седого тополя” – “В своей орлатой рубахе Климов являл скуке сторожевых вышек до злой не-лестности унижительное зрелище” – писатель переделал. Стало: “В своей орла-той рубахе Климов развлекал скучавших сторожей унижительным зрелищем своей нелепой наружности”. Тут надо пояснить, что это за рубаха. Климов о-стался без гимнастёрки, и вместо рубахи надел мешок с фашистским орлом, проделав в нём дыры для шеи и рук. Поэтому был так трагикомичен. Такой же мешок Воробьёв вспомнит спустя годы в “Ракитном...” и в другой повести –

“И всему роду твоему”. Интересно, что очень много, на чём “споткнулись” рецензенты, проходило и проходит незамеченным у обычных читателей.

Евгеньев уверяет, что для Воробьёва характерна “вымученная красивость”, и будь то просто обмолвки, описки, “недостатки стиля”, не так сложно было бы это исправить. Но ему видится более существенное – “неосознанное автором отталкивание не от жизни, а от литературных образцов, что и влечёт за собой надуманность, неестественность ситуаций, мелодраматичность и сентиментальность положений, то есть то, что мы называем “литературщиной”³³.

Оставляю без комментариев.

Евгеньев считает, что тематическое разнообразие сборника свидетельствует о недостаточно строгом и продуманном отборе. Более чем странное суждение. “Гуси-лебеди” для него – романтическая, не блещущая новизной и оригинальностью история любви двух молодых людей, и здесь, может быть, “с наибольшей силой проявлены многие недостатки, вообще свойственные К. Воробьёву”. А именно: “жизненно правдивый и в основе своей простой эпизод оброс таким количеством украшающих его деталей, лирических отступлений, мелодраматических ситуаций, не работающих на основной сюжет, что стал производить впечатление чего-то надуманного. Я не советую автору оставлять этот рассказ в его настоящем виде в сборнике”³⁴.

Теми же недостатками “испорчен” “простой и действительно трогательный” рассказ “Подснежник”. Его можно “подчистить” и оставить. “Седой тополь” выкинуть. “Потому что это произведение, на мой взгляд, убедительно свидетельствует о некоторой потере автором художественного такта. В рассказе говорится о пленных советских офицерах, доведённых в результате зверского с ними обращения и голода до последней степени не только физического истощения, но и морального, нравственного оскудения. И когда в этих несчастных людях проявляются в конце рассказа человеческие черты, то они, эти черты, вызывают у читателя не столько уважение, сколько болезненную жалость. Это едва ли тот эффект, к которому стремился автор. В рассказе есть сильные страницы и написан он так, что заставляет верить в описываемое (может быть, К. Воробьёв сам пережил все ужасы плена?). Я не призываю писать рассказы розовой водичкой и бояться жестокой правды жизни, но во всём нужно чувство меры, чувство художественного такта, а в этом рассказе и мера и такт нарушены”³⁵. Полная противоположность Рутько! “Дорогу в отчий дом” следует очистить от “словечек и выражений, имитирующих народную речь, и в основе своей далёких от простой народной речи”. При этом, по настоящему рецензента, нужно сохранить речевой колорит. “После значительной работы над стилем и языком рассказа он мог бы быть включён в сборник”. Больше всего из военных рассказов Евгеньеву понравился “Сильнее смерти”. “Он, по-моему, прост и героичен, но и он нуждается в большой доработке. Прежде всего, его следует значительно сократить и освободить от всех тех недостатков, о которых говорилось выше. Особенно рекомендую обратить внимание на заключительную сцену, где Борис пишет стихотворение – сцена получилась недостоверной, мелодраматичной. После доработки рассказ может быть оставлен в сборнике”³⁶.

Евгеньев, как и Матов, выделил рассказ “Ермак” и назвал неудачным, фальшивым “Матвея Горинова”. “Идейный замысел его не ясен”. Таким же надуманным представился ему и “Синель”, особенно концовка. “В нём есть несколько приятных страниц, рассказывающих о детских годах героев, но конец рассказа, где герой снова встречается с героиней в то самое время, когда она, врач, удаляет ему, уже полковнику, гланды, кажется условным и даже несколько пародийным. При чём тут гланды?! Рассказ слабый, включать его в сборник не следует”³⁷. Но самое лучшее – это “Тени прошлого”. “Читаешь этот рассказ и, сравнивая его с другими, вошедшими в сборник, невольно думаешь: “Вот ведь может же человек!”³⁸

Сам Воробьёв, между тем, считал эту повесть слабой...

Ничего интересного рецензент не увидел в рассказах о детях: “Ничей сын”, “Первое письмо”, “Лёнька”, “Хи Вон”...

Вывод: книга нуждается в основательной доработке и пересмотре. “У меня сложилось представление, что К. Воробьёв включил в сборник всё, что было у него под рукой, без достаточно критического отбора, а это, разумеется, едва ли можно считать правильным... Но вот вопрос: получится ли полноценный

сборник из пяти-шести довольно случайных по содержанию рассказов, которые могут остаться после пересмотра содержания сборника? Не лучше ли К. Воробьёву повременить, подождать, когда у него наберётся ещё несколько новых хороших рассказов, — лучше тех, что он с недостаточным критическим подходом к себе включил в данный состав сборника”³⁹.

Куда податься бедному заведующему редакцией русской советской прозы, когда у него на столе одна положительная рецензия, другая резко отрицательная, а третья — ни туда ни сюда, допускает издание книги при переработке? И. Козлов пишет в Вильнюс письмо:

Уважаемый товарищ Воробьёв!

*Ваши рассказы прочитали В. Н. Матов и Б. С. Евгеньев. Оба они дали обстоятельный анализ рукописи и пришли к выводу, что издавать её отдельной книгой ещё рано. Сборник надо пересмотреть, пересоставить, над некоторыми рассказами серьёзно поработать*⁴⁰.

Машинопись была отправлена назад вместе с критическими отзывами. Об Арсении Рутько в письме ни слова, но его рецензия подшивается к архивному делу. Неясно только, получил ли Воробьёв её копию. Мне кажется, раз Козлов о ней умолчал, значит, не выслал. Отрицательные отзывы писателя получал и раньше, и один “подарил” своему герою: в рассказе “Гуси-лебеди” редакция журнала поучает Марьянова: “...Если он стремится со временем стать поэтом, то должен раз и навсегда понять, что початки камышей не похожи на факелы, что сизая дымка горизонта — просто туман и пыль великих будней, а романтика вообще — это засаленный салоп, вконец изношенный писателями ещё в прихожей редакции журнала “Нива”. Марьянов садится за повесть о войне и пишет её “сердцем”, “силой любви и памяти он воскрешал прошлое почти до физической яви...”. Дальше возникает один из ключевых мотивов Воробьёва — возвращение героя на родину. Туда, где прошло детство. Сопоставление и столкновение времён с беспощадной нравственной оценкой прожитого.

Сборник “Седой тополь” вышел в 1958 году в Вильнюсе. В него была включена половина из того, что Воробьёв посылал в Москву.

Писатель обращался в издательство и после, но также безуспешно. “В моём столе лежит, например, совершенно шизофреническая “внутренняя рецензия” Зубавина на мои рассказы, которые я пробовал издавать в Совписе несколько лет назад”, — сообщал он литературоведу и критику Юрию Томашевскому в сентябре 1970 года⁴¹. Имеется в виду прозаик Борис Михайлович Зубавин. Интересно бы было найти этот отклик. В архиве Воробьёва нет рецензий, но супруга писателя Вера Викторовна ссылается на них в своих статьях. Стало быть, сам писатель их не уничтожил. Очевидно, близкие Воробьёва решили после его смерти не передавать их в РГАЛИ.

“Вы относитесь к подлинным мастерам стиля и слова...” Глазами читателей

Мне бы хотелось посмотреть на творчество Воробьёва глазами его читателей-современников. Архив писателя открыт и хранится ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства. В советские годы издательства оставляли на самых последних страницах книг короткое приглашение: направлять свои отзывы можно по такому-то адресу. И люди писали. Кто-то выражал своё отношение к прочитанному и, встретив что-то близкое себе, делился сокровенным. Воробьёв казался этим не знакомым с ним людям именно тем человеком, который поймёт, с которым можно поговорить о чем-то субъективно личном. Кто-то спрашивал, что стало с героями, как сложилась их дальнейшая судьба, потому что воробьёвская проза воспринималась как самая подлинная действительность... Кто-то скупое хвалил, кто-то скупое, а порой совсем не “скупое”, ругал, “выковыривая” стилевые неточности и фактические ошибки, упрекал за то, что, например, в киноповести “Я слышу тебя” (действительно у Воробьёва не самой сильной) бывший партизан ностальгически рассматривает “сувениры” — фашистские кресты и медали, а в “Тётке Егорихе”, мол, содержится... пропаганда порнографии. Мне кажется, читательские отзывы — недооценённый вид литературной критики и, помимо этого, особый

документ эпохи. Их анализ уже становился предметом научных исследований⁴². Но я бы ещё хотел понять, что именно вызвало исповедальный отклик, что было в рассказе или повести такого, что заставило читателя взяться за перо или шариковую ручку и написать письмо в той надежде, что оно попадёт в руки автору... Эти люди, мне кажется, в большинстве своём следовали тем наставительным словам, которые в романе Константина Фединя “Необыкновенное лето” произносит одна его героиня, Вера Никандровна: “Просматривать, перелистывать книгу – это не чтение. Читать надо так, как слушаешь исповедь человека. Углубляясь в книгу. Тогда она раскроет себя, и ты постигнешь её прелесть. Как лес нельзя узнать, не углубляясь в него, а только поглядев на него издали или пройдясь по опушке, так и книга не принесет тебе радости познания, если ты не научишься углубляться в чтение”.

Мне интересен портрет читателя тех лет: кто он был, что искал, почему откликнулся, как вспыхивало то интимное чувство, когда не правда документальной действительности, а правда художественная (читатель иногда ставил между ними знак равенства, отождествляя Воробьёва и его героев – Сергея Воронова, Алексея Ястребова – с ним самим), именно правда художественная становится куда сильнее и точнее документа. Воробьёвская проза не “фотографична” при всей своей яркой образности.

Тут была одна и та же боль, которая занозой мучила и автора, и читателя, а с нею вместе великое человеческое чувство сопереживания. Оно стало мостиком, той нитью, что связывает незнакомых людей таинственным родством...

Вера Воробьёва вспоминала, что в 1958 году у писателя возник замысел большого романа, который он предполагал назвать “Серебряная дорога”. Он написан не был, точнее, “рассыпался” на отдельные самостоятельные повести и рассказы, где действуют одни и те же герои. Его начало стало повестью о детстве. Отрывки печатались в декабре 1959 года в “Страже Балтики”, ежедневной газете Краснознаменного Балтийского флота, под заголовком “Серебряная дорога”. Затем, в 1963-м, повесть вышла на страницах одиннадцатого номера журнала “Молодая гвардия”. Её подзаголовок впоследствии стал заголовком – “Сказание о моём ровеснике”, а тогда редакция попросила писателя назвать повесть иначе. Так появился “Алексей, сын Алексея”⁴³.

Читатель В. Смирнов из латвийского города Вентспилса, оставивший в письме только инициал, внимательно следил за “Стражем...”:

Тов. Воробьёв!

С удовольствием прочёл главы Вашей повести “Серебряная дорога”, опубликованные в газете.

Откликнуться хотелось “зараз”, как только прочёл первый кусок. Удержало благоразумие: просто выболтаться перед незнакомым человеком было бы бестактно и глупо. Выждал и прочёл все семь номеров...

Я взволнован и воодушевлен, будто в гостях у хорошего приятеля побывал – умного, вдумчивого, несомненного художника! Тем более заметны главы, что наша газета редко балует читателей хорошим отрывком, рассказом, очерком. Да и не только наша...

Естественность сюжета, а не лубочная яркость речи; скульптурная чёткость образов; удачно найденная деталь и целостность общего (как в песне, где слова не выкинешь) – вот что привлекло меня в “Серебряной дороге” даже в том неполном виде, как она опубликована в газете.

Кстати, будет ли повесть издана?

Если будет (простите мою назойливость), хочется прочесть её всю. Возможно ли это?

Шесть вырезок со своими пометками я отсылаю Вам. У меня осталась одна, последняя, на память. В пометках вы найдёте, что конкретно понравилось мне и что нет. Мнение, конечно, чисто субъективное, потому Вас ни к чему не обязывающее⁴⁴.

К письму прилагались вырезки из “Стража Балтики”. Даты в нём нет. Отметим вслед за ним эту “песенность” воробьёвской прозы. Сравнение с песней, воспоминания о песнях не раз ещё встретятся в письмах. “Сказание...” вошло в сборник “У кого поселяются айсты”, выпущенный в 1964 году “Советской Россией”. С некоторым опозданием книга попала в руки студенту

Воронежского государственного университета В. М. Агулову. Мастерство Воробьёва заключается в том, что он сумел сделать своих героев собеседниками читателя.

Дорогая редакция!

Я прочитал повести и рассказы Константина Воробьёва “У кого поселяются аисты”. Меня потрясла повесть, открывающая книгу, “Сказание о моём ровеснике”. Прочитав её, я не мог остановиться и читал книгу дальше с мыслью найти продолжение этой повести. А потом понял: продолжение этой повести – жизнь, а последующие повести и рассказы – эпизоды из этой жизни, раскрывающие взаимоотношения между людьми.

Книга потрясла меня своей простотой, реальностью происходящего в ней. Взволновала и заставила задуматься. Второй день я мысленно переживаю происходящее в книге, сопоставляя своё восприятие жизни с восприятием её героями книги.

Дорогая редакция! Я очень прошу Вас, передайте, пожалуйста, автору книги т. Константину Воробьёву огромное спасибо за его книгу “У кого поселятся аисты”. Я очень благодарен ему и признателен. Я даже не могу сказать, какое чувство возникло у меня к нему, когда я прочитал его книгу. Ещё раз огромное спасибо и глубокий поклон, Константин Дмитриевич⁴⁵.

На повесть “Алексей, сын Алексея” отозвалась 15 февраля 1964 года читательница Нина Лосева из Куйбышева. Письмо написано синими чернилами на трёх листах тетрадной бумаги в клетку.

Уважаемый Константин Дмитриевич!

Где-то я вычитала фразу: “Писатель принадлежит народу”. Вот почему я посылаю Вам это письмо. Пишу я по поводу Вашей повести “Алексей, сын Алексея”. Давно уж не испытывала я такого удовольствия при чтении художественной литературы. Отчаявшись найти что-нибудь яркое на прилавках, читая книги, чем-то похожие друг на друга, мало-помалу перешла я несколько лет назад на дневники очевидцев, книги натуралистов и путешественников, журналистов и географов. Там каждый пишет о чём-то своём, но в художественном смысле книги те не могут служить отрадой нам, запойным “пьяницам”, не мыслящим ни одной минуты существования без печатного слова.

И вдруг такая радость! Словно букет свежих душистых полевых цветов. Так и запахло горячим летом, травами-медоносами. В зимние дни, холодные и угрюмые, я словно побывала в отпуске в Вами чудесно описанной, бесконечно симпатичной деревеньке. Всё так понравилось! Но больше всего язык повести. Не знаю, скоро ли выйдет “Алексей...” отдельной книгой, хочется поскорее поставить его на полку среди самых любимых, которые останутся моим вникам.

Дорогой Константин Дмитриевич!

Всё очень хорошо в Вашей повести, но есть один недостаток – она мала. Может быть, в этом её основная прелесть, не знаю, как Вы решали, но по этой теме, по героям, по Вашим силам и по моему мнению – здесь нужна большая вещь, может быть, даже не одна. Я бы с большим наслаждением купила в магазине трилогию: 1) “Алексей, сын Алексея”, 2) и 3) – Вы сумели бы ярко и скромно озаглавить. Книгу Вашу читала я, и читала не одна. Дочери 16 лет понравилась. Мальчишкам-озорникам 9 и 12 лет понравилась тоже. Один вопрос у всех: и это всё? А продолжение? А как он будет жить дальше? Кем будет, что будет делать? По возрасту этот человек – наш современник, реальный человек, который где-то рядом с нами жил, работал, боролся со всякой гнилью, воевал в Отечественную войну, сейчас, наверно, страстно борется за мир, за правду, за настоящих людей. Очень понравились нам всем в книге отношения мальчика и деда, рассказ о той неподкупной любви и духовной близости ребёнка и старика, о которых почти ничего не пишут молодые современные авторы. А может быть, ничего не знают об этих красивых и грустных вещах дети, выросшие в яслях, детсадах, интернатах, а деды работают и живут особой, оторванной жизнью⁴⁶.

Читательница просила дальше рассказать, будет ли продолжение. “Книг у нас море, а хороших очень мало, вот зацепишься за какую-нибудь редкую

удачу вроде Вашего “Алексея”, и хочется вжиться в неё надолго”. Она права. Повесть мыслилась как первая часть большого романа. Это я сказал. С Алексеем Ястребовым мы встретимся потом в “Убитых...”. Читательница пишет по горячим следам. Наверное, “Молодую гвардию” они выписывали всей семьёй, если повесть прочла и дочь, и внуки.

Вот ещё один отклик, немного запоздалый. Письмо написано на сдвоенном тетрадном листе в клетку. Старшеклассница Любовь Карцева жила в Москве. О себе она немного сказала в письме. Оно датировано 15 марта 1965 года.

Дорогой Константин Воробьёв!

Простите, я не знаю Вашего отчества. До вчерашнего дня я совсем Вас не знала, а вчера попался мне на глаза старый журнал “Молодая гвардия”, № 11 за 1963 год, и я прочитала Вашу повесть “Алексей, сын Алексея”. Читала, и как будто народную русскую песню слушала. Вот так я хотела сама написать, но не умею, а очень хочется почему-то рассказывать о том, что чувствуешь. Вашу повесть читала, как будто сама писала, и могу, как стихи, перечитывать её строчки. Может быть, это покажется Вам странным, ведь Вы писали о своём ровеснике, а мне ещё только семнадцать лет. Для меня Ваша повесть – это не “Сказание” о Вашем “ровеснике”, а сказание о моей Родине.

Не знаю, зачем я написала это письмо. Сказать “спасибо”? Это не то. Просто мне очень захотелось Вам написать, но немножко страшно, что Вы будете читать это письмо. Вы – умный писатель, а я глупая девчонка, которой ко всему прочему грозит двойка по математике.

Я буду очень счастлива, если Вы мне напишете. Ведь Вам наверняка есть что сказать мне. А если Вам будет смешно, когда будете читать это письмо, то это тоже хорошо⁴⁷.

Ну вот опять, и уже от другого человека, слышим слова о песне. Наивные строки, но как они искренни! Человек другого поколения, из мегаполиса (наверное, Москву 1960-х всё равно можно назвать так) находит здесь что-то для себя очень близкое. Думаю, с литературой у “глупой девчонки” было вовсе не так уж плохо, как с математикой. Ведь именно этот предмет и призван, помимо семьи, воспитывать то самое чувство Родины, о котором говорится и в этом нескладном письме и в последних строках самой повести... Задача литературы и состоит в жизнестроительстве, иначе – в формировании жизненных целей и ориентиров, всего того, на чём основано духовное “самостоянье человека”. Оно невозможно без осознанного отношения к тому, что зовётся Родиной.

Что ещё мы тут видим? Старшеклассники без всякого учительского совета читают “толстые” журналы. Умеют без посторонней помощи определить основную идею произведения. Стремятся к общению с писателем. Черта времени, когда печатное слово ценилось.

В 1962 году журнал “Нева” опубликовал повесть “Крик”. О том, что действительно легло в основу кульминационного эпизода, рассказала Вера Воробьёва в воспоминаниях “Розовый конь”: “Ещё в 1943 году Константин Дмитриевич рассказывал мне о том, что их рота стояла в какой-то деревне под Москвой. Они получили приказ спешно покинуть её. В это время начался миномётный обстрел. И вот, когда они уходили, вдруг услышали душу раздирающий крик. По селу бежала девушка с распущенными волосами, обезумевшая от страха. И в это время мина разорвалась рядом с нею. Девушка упала. О её судьбе они так и не узнали... Он говорил, что, несмотря на ужасы войны и плена, которые ему удалось увидеть и пережить, самое угнетающее впечатление оставили два события: этот крик и страшная картина на шоссе на дороге, когда они отступали. Два чёрно-красных пятна, одно большое, другое маленькое. Это было всё, что осталось от раздавленной женщины и ребёнка, по которым прошли танки и пехота”⁴⁸.

В том же 1962 году на “Крик” отозвался Юрий Бондарев, опубликовав в десятом номере “Нового мира” рецензию “Повесть о любви”. Отмечая то, что можно расценивать, на его взгляд, как некоторую слабость: лёгкие сюжетные ходы (“беллетристичность”), иногда – отсутствие мотивировок, он подчеркнул под конец: с Воробьёвым надо говорить, как с серьёзным писателем, без обидной снисходительности к недостаткам. В феврале 1963 года волевым

решением Твардовского в том же журнале была опубликована повесть “Убиты под Москвой”.

В 1964 году издательство “Советская Россия” выпустило сборник Константина Воробьёва, название которому дал один из самых пронзительных его рассказов, помещённый там последним, “У кого поселяются аисты”. Кроме него сюда вошли “Сказание о моём ровеснике”, “Убиты под Москвой”, “Крик”, “Почём в Ракитном радости”, девять рассказов: “Гуси-лебеди”, “Подснежник”, “Синель”, “Настя”, “Белая ветка” и другие. То, что сурово было отвергнуто “Советским писателем”.

Снова пошли письма.

Радужный и доброжелательный житель Ленинграда Николай Логвинович Васильчиков. Почерк у него очень ясный, светлый, ровный и не ухабистый, при этом простой, как сама дорога. Автор оставил под письмом, кроме адреса, свои телефоны, служебный и домашний. Он написал Воробьёву 25 октября 1964 года с двух сторон двойного тетрадного листа в клетку. И тоже отмечает его “песенность”...

Здравствуйте, уважаемый Константин Дмитриевич!

Простите, что я беспокою Вас, но я просто не мог не написать Вам.

Кто-то из писателей, по-моему, М. Горький, сказал: “Хорошая книга – это большой праздник”. Так вот, у меня сегодня тоже большой праздник – я прочёл Вашу книгу “У кого поселяются аисты”. Повести “Убиты под Москвой” и “Крик” я читал раньше, а вот повести “Сказание о моём ровеснике”, “Почём в Ракитном радости” и все помещённые в книге рассказы я прочёл впервые.

Особенно большое впечатление на меня произвела повесть “Почём в Ракитном радости”. Может быть, это потому, что я сам родился и долгое время жил в селе, или потому, что уж больно современна тема повести, но только каждое Ваше слово находит отзвук в моём сердце.

Я родился в средней полосе России, и так же, как и Вы, могу сказать, что унёс оттуда солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущих акациях, запахи мяты и, конечно, песни...

Песни!.. Они в моей памяти, так же как и у Вас, улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.

Я не литературный критик, а только инженер-дорожник, и совсем не ставлю цели сделать в этом письме подробный анализ Вашей повести. Я только хочу сказать большое Вам спасибо, Константин Дмитриевич! Своей книгой Вы очень порадовали меня, да и не только меня, а тысячи своих читателей. Вы действительно хороший писатель!!! Сейчас у нас в стране выходит очень много книг, но такая, как Ваша, это редкость, это действительно настоящий праздник.

К сожалению, в книге нет Вашей автобиографии, но я почему-то уверен, что Вы родились где-то в центре России, скорее всего, в Курской области.

Я не знаю, что у Вас написано кроме этой книги, но я очень прошу Вас, помогите мне и подскажите, где можно приобрести Ваши книги, в том числе и “У кого поселяются аисты”.

Я сейчас подбираю личную библиотеку, но, к сожалению, этой книги не могу достать, так как её уже нет в продаже. Очень хотелось бы получить от Вас хотя бы маленький ответ на это письмо.

О себе писать много не буду. Мне всего только 30 лет. Родился и жил до 18 лет на Брянщине. Окончил строительный институт, работаю и живу в Ленинграде.

Если Вам придётся быть в Ленинграде, то очень прошу побывать у нас. В нашей семье Вы будете желанным гостем⁴⁹.

Минули годы, несколько десятков лет, и Ленинград переименовали, а у автора, который, кстати, точно угадал, где родился Воробьёв, вышла в Питере в 2006 году своя собственная книга – “Дорога длиною в полвека”. Жалко, что Николай Васильчиков не увидел её. Он умер 27 декабря 2005 года, а книгу – кропотливую летопись о дорогах и дорожниках Ленинградской области с документами и воспоминаниями, с обилием фотографий и биографических справок – выпустили в свет коллеги и соратники Николая Логвиновича. На снимках я вижу его внуков. Хочу думать, что они тоже знают книги Воробьёва...

Читательские отклики совершенно расходятся с отзывами “профессиональных” литераторов из “Советского писателя”. То, что им казалось надуманным и сентиментальным, рядовой читатель принимает безоговорочно. Он безусловно верит написанному, будто всё так и было на самом деле. В письмах идут вопросы: какой сложилась дальнейшая жизнь у Миши-Подснежника – сына партизанского отряда, и где он в данное время, встретились ли Марьянов с Таней из рассказа “Гуси-лебеди”? “Хочется ото всей души пожелать этим людям всего наилучшего в ихней жизни”, – писал Воробьёву в декабре 1964 года простой шофёр Николай Масленников из села Северное Новосибирской области, будто речь шла о реальных людях⁵⁰. Выходит, рецензенты из “Советского писателя” совершенно не понимали советского читателя. Они жили в особом мире, который не соприкасается с читательским...

Держу в руках письмо, написанное аккуратным, почти каллиграфическим, почерком, чёрными чернилами на двух листах тетрадной бумаги в клетку. Так только на чертежах писать. Вверху стоит вместо заголовка: “О книге К. Воробьёва “У кого поселяются аисты””. Автор – конструктор турбомеханического завода Нина Константиновна Демаш из Полтавы. Это из её отзыва на “Аистов...”:

Не умею красиво выражать свою мысль, напишу как могу. Я очень люблю произведения А. П. Чехова. Много раз и всё его читала, люблю его за большую жизненную правду, именно правду, пусть она печальная, смешная, горькая – но правда, всё что и бывает в жизни, ему доверяешь, а читаешь с увлечением и захватывающим интересом. Настолько я его уважаю, что если называю своего младшего сына Анатолия с особым уважением – то зову его Антоном, хоть знаю, что это не одно и то же. <...>

В книге “У кого поселяются аисты” я читала такую чистую, жизненную, интересную правду, что в каждом рассказе чудилось, что это биография автора, а не художественное произведение, что это очень хорошее письмо мне от дорогого человека, а кое-где прямо обо мне, о моём братишке или даже о моих детях, если б они жили полвека назад, – пишут. Как подробно, тонко и замечательно пишет Константин Дмитриевич о характере босоногих мальчишек, о чувствах детей, как он их любит, как знает природу, быт, язык простого человека, деревни, преподносит нам, читателям, в доступном замечательном изложении. Большое искреннее спасибо за эту книгу и автору К. Д. Воробьёву и издательству⁵¹.

А вот письмо на сдвоенном листе белой почтовой бумаги, в левом верхнем углу рисунок с изображением ворот и арок Стрыйского парка во Львове. Оно также пришло на адрес “Советской России”. Автор указывает, что она живёт во Львове, по профессии химик, окончила университет, сейчас на пенсии. Текст написан неровным почерком, неуверенной рукой, косо – каждое слово, наверное, давалось читательнице Галине Мануйловой с трудом, блеклыми синими чернилами.

Читая эту книгу, получила большое эстетическое наслаждение. К. Воробьёв – крупный и умный художник слова. Хорошо знающий жизнь, пишет красивым русским языком и действительно так, что “словам тесно, а мыслям просторно”. Книга читается легко и интересно, а образы, созданные писателем, встают перед глазами, как живые.

Особенно тепло и ярко, с большой любовью автор создаёт детские образы в рассказах “Подснежник”, “Синель”, “Настя” и других.

Я ничего не слышала раньше об этом авторе, по моей “заявке” в библиотеке ничего не нашлось. Случайно выбрала эту книгу (понравилось заглавие) – и как алмаз нашла⁵².

Из рассказов здесь упомянуты те, что решительно отвергли Матов и Енгеньев. Примечательно и короткое замечание о языке. Воробьёву писали и школьники, и пенсионеры, работники-шофера и техническая интеллигенция, жители Сибири и Западной Украины, Молдавии. Его проза объединяла всех, независимо от возраста и профессии.

В 1966 году журнал “Новый мир” отклонил повесть Воробьёва “Друг мой Момич”, посвящённую коллективизации. В издательстве “Московский рабочий” вышел сборник рассказов “Дорога в отчий дом”, в подавляющем большинстве

отвергнутых в своё время “Советским писателем”. “Момич” в сокращённом варианте увидел свет в 1967-м в вильнюсском издательстве “Вага” под названием “Тётка Егориха”. Читатель Юрий Николаевич Кузовкин из Москвы откуда-то знал об этой истории. Его послание написано на новогодней открытке: Дед Мороз с большим мешком едет в санях, запряженных лошадкой.

Сердечно поздравляя Вас с Новым годом, желаю Вам самого доброго, хотя хороший (настоящий) писатель имеет мало шансов на доброе отношение к себе. Но пусть вопреки историческим тенденциям Ваша жизнь будет усыпана плодами Вашего труда.

Прочитал “Тётку Егориху” – бывшего “Момича”. Книга отлично написана. Отлично! Конечно, хирургическое вмешательство подспудных сил видно, особенно в конце, но талант, сколько его ни урезай, всё равно своё берёт.

Я честно, искренне говорю, что учусь худ[ожественному] языку по Вашим книгам. Особенно – “Убиты под Москвой”. Чудо! Целая школа художественной словописи. Это один из гвоздей, которыми распята современная традиционно-пресная литература⁵³.

В одном из писем Юрий Кузовкин рассказал о себе: родился в 1925-м, в 1942 году ушел добровольцем на фронт и воевал до конца войны, ни ранен, ни контужен. Профессия – учитель. На одном из его писем есть шуточная приписка: “Вас. Белов, конечно, хорошо, но К. Воробьев лучше”⁵⁴. Судя по этому письму от 10 сентября 1968 года, Воробьев ему отвечал.

В 1971 году в журнале “Наш современник” с сокращениями была напечатана повесть “Вот пришел великан”. Тогда же её издали в Вильнюсе – отдельной книгой небольшого формата, но с твёрдой обложкой и даже с цветным “супером”. В основе сюжета классический любовный треугольник: писатель по фамилии Кержун приходит работать в издательство, где знакомится с замужней женщиной, её зовут Ирена. Мужа она не любит. Их отношения становятся известными. В конечном счёте герои решают расстаться. Ирена считает необходимым сохранить семью ради подрастающей дочери. “Мне... хотелось провести там мысль, – писал Воробьев о “Великане” в письме Юрию Томашевскому, – что не стало личности, индивидуальности, что велик и подл страх личной смерти у сов[етского] гражданина, что он не способен на подвиг и жертву, что велика его готовность на пресмыкательство” и т. д. и сетовал, что всё это выпало⁵⁵.

Воробьев получил немало откликов. С выходом этой повести началось его знакомство и переписка с критиком Еленой Джичоевой, автором работ о Виталии Семине, Юрии Гончарове, Евгении Носове, Андрее Платонове⁵⁶. Давайте ознакомимся с теми письмами, где, помимо эмоций, историй о том, как удалось отыскать книгу или журнал, подсчёта опечаток, содержится и критический разбор. 14 ноября 1971 года Воробьеву написал Эдуард Абрамович Паккер. Конечно, мне стало интересно, кто он, и я попробовал “погуглить”. Встретился Роберт Абрамович Паккер – конструктор артиллерийских снарядов, лауреат Сталинской премии 1951 года. Похоже, что брат... По читательскому письму в любом случае видно, что к Воробьеву обращается человек уже немолодой. Буквы будто завязаны на узел, тесно жмутся друг к другу, интервал между строчками узкий. Исправляя, автор не зачёркивает, а тщательно замарывает написанное. Получается совершенно чёрный квадрат или прямоугольник на строке. Письмо Эдуард Паккер написал в Вильнюс на адрес местной организации Союза писателей. Оно длинное, но его не хочется сокращать.

Уважаемый Константин Дмитриевич!

Беспокою Вас своим читательским откликом на повесть “Вот пришёл великан”.

Обращаюсь к Вам по праву читателя, для которого эта повесть оказалась внутренне необходимой, задушевной, как говаривали в старину...

Пишу Вам сразу же после прочтения повести, доверяясь первым свежим впечатлениям от неё (уместен ли здесь предлог “от?”), которые обычно не обманывают меня, но, возможно, нуждаются в каких-то поправках...

Вашу повесть я отношу к числу немногих подлинных произведений нашей прозы последнего времени. Я думаю, нет необходимости называть “обойму” авторов и заглавий. Это сделают гораздо лучше меня квалифицированные

специалисты. Кстати, первое упоминание о повести уже имеется в обзоре критика Вс. Сурганова (“Литературная газета” от 13/X 71 г.). Будем считать это многообещающим началом. Не хочу делать литературных прогнозов, но предвижу и появление критических разборов повести и, может быть, даже литературной полемики вокруг неё, чего она вполне заслуживает.

Чтобы не быть анонимом, пусть не на месте, но всё же вынужден представиться. Отношусь к поколению “отцов” (возраст – 65 лет), в недавнем прошлом – преподаватель литературы. . .

Теперь, наконец, перехожу к существу дела.

Бывает простота хуже воровства, есть простота синонимичная правде. В Вашей повести с её бесхитростным, незатейливым сюжетом, с её будничностью и обыденностью, с её пристальным вниманием к мелочам повседневной жизни и характеры, и обстоятельства достоверны и убедительны. Вероятно, Вам пришлось выслушать упрёки в бытовизме, описательстве и т. п. Но если это действительно имело место, стоит вспомнить слова тургеневского Базарова, что, мол, человек проник в тайны вселенной и познал, как каждый атом трепещет, а вот понять, как другой человек сморкается, он не в состоянии. На мой взгляд, Ваша повесть уже самой атмосферой жизни провинциального города (конечно, современного и, конечно, советского) помогает понять все особенности психологии и поступков персонажей. . . Пусть в решении основного конфликта чувствуется какая-то психологическая недосказанность – я отношу это за счет вынужденных для Вас сокращений текста – но понимаешь, по-человечески понимаешь, что в данной конкретной обстановке Ирена, например, опутанная тысячами порой неуволимых связей – случайных, служебных, семейных, бытовых – не могла сделать решительного шага: порвать с Волобуем, начать “новую жизнь” с Кержуном. . . И разве только Алёнка, т. е. чувство долга перед дочерью подрезало ей крылья? Ирена, конечно, человек незаурядный, но всё же рядовой. В реальной действительности далеко не каждый способен стать хозяином своей судьбы. . . Мало ли какие страхи, опасения, недостаточная уверенность в себе и, может быть, в своём возлюбленном толкнули её на унизительное сохранение “статус-кво”. . . И боязнь материальных лишений (боязнь не только за себя, сколько за дочь) тоже, видимо, сыграла свою роль. Что же в итоге получается? Человек, а ещё советский человек – раб обстоятельств? Я не сторонник теории “такова жизнь” (т. наз. “селявивщиков”), но, по-моему, у нас как-то недооценивают обстоятельства, определяющие людские поступки и отношения.

Единство “микромира” и “макрмира”, которое я нахожу в Вашей повести, во многом определяет и манеру повествования, и способы изображения действительности. Я не могу представить себе Кержуна без его “Росинанта”, Волобуя без его “Волги”. Художественно необходимы все эти загородные поездки, метания по городу, телефонные звонки. . . Но, чтобы поверить в чувства и переживания героев, надо вместе с ними и порой их же глазами видеть, наблюдать, ощущать (преимущественно через призму восприятия центрального героя повествования) весь окружающий их мир, от зелёной зоны до душных закутков издательства, от телефонной будки до особняка на Перовской (если не ошибаюсь). Может быть, и есть некоторое излишество в детализации вещного мира, но в большинстве случаев она (детализация) оправдана или сюжетной, или психологической ситуацией (практически они тоже ведь в произведении нераздельны). Поэтому вполне примиряешься с описанием яств и питий, даже с точным ценником на них. Правда, порой почему-то вспоминаются то Ремарк, то Хемингуэй. . .

Несколько слов о Кержуне. Почему несколько? Я и так злоупотребляю Вашим вниманием, да ведь и его образ, несомненно, главная авторская удача. В художественном отношении в нём всё бесспорно. Он композиционно, что ли, фокусирует в себе все узлы сюжета, стягивает все нити повествования, а главное – объединяет лирическое и сатирическое начала (во мн[ожественном] числе), и это относится в равной степени как к его внутреннему миру, так и ко всему окружению (окружающему). Достаточно сказать, что вся атмосфера местного издательства с его деловым бездельем, трафаретностью, рутиной и косностью, с его Дибровыми, Владыкиными, “Вераваннами”, Певневыми и прочими ревностными службистами сатирически, но без нажима, воспроизведена им, т. е. дана через его восприятие. А лирическое начало вступает в свои права, когда речь идёт об его отношениях с Иреной или

когда он раздумывает о себе... Я, конечно, повторяюсь, но всё же укажу, что и городской, и природный пейзаж приобретают во всех случаях особую кержуновскую, что ли, окрашенность (окраску?)... Вот тебе и несколько слов! Приходится продолжать.

Вы, естественно, далеки от приукрашивания своего героя и от любования им. В нём хорошие задатки, талантливость его несомненна, так сказать, порядочность тоже не возбуждает сомнения, но в нём я заметил и самоуверенность молодости, и напускной цинизм, который порой необходим в борьбе с мещанской стихией, но который подчас переходит в браваду и представляется несколько излишним в стычках с несчастной и, в сущности, жалкой “Вераванной” (я не говорю, что она безвредная). Мы, т. е. читатели, спокойны за его будущее. Бывший детдомовец, он мастер на все руки, он нигде не пропадёт и т. п. и пр. И самокритичен он в достаточной мере. И всё же чего-то ему не хватает. Может, наименее убедительно он дан в сфере своих чувств, верней, в сфере их проявления? Я, например, почувствовал некоторую ответственность в эпизоде, когда он сам роняет скупые мужские слёзы и утирает слёзы своей возлюбленной...

В его отношениях с Иреной, да и не только в них, видна какая-то двойственность. Её природа для меня не вполне ясна. Почему всё-таки в решающий момент он “пощадил” её и Алёнку, верней, во имя Алёнки не проявил должной настойчивости, заранее зная, на какую мучительную жизнь обрекла себя его возлюбленная. Возможно, не поняв этого, я не понял в повести самого главного? Если можете и хотите, ответьте на мой вопрос в ответном письме, на получение которого я всё же рассчитываю.

И вот ещё что меня интересует. Нет ли у Антона Кержуна сходства с некоторыми хемингуэевскими героями? Не в силу сходства каких-то там литературных влияний, а по причинам объективным, т. е. коренящимся в условиях самой жизни, человеческих отношений.

Вашей наибольшей заслугой применительно к Кержуну я считаю умение сохранить необходимую дистанцию между автором и героем. Сделать это в повести с центральным лирическим героем-рассказчиком неимоверно трудно. Но это чувствуется. Может быть, эта “разность” (по словам Пушкина) наиболее ощутима там, где вступает в силу самокритика героя как своего рода особый вид авторского комментария? Вероятно, ожидаемый ответ требует скрупулёзного вдумчивого анализа повести, на что я, конечно, не претендую... И последнее, которое для Вас лично может стоять и на первом плане (а мне лично оно вовсе не кажется второстепенным, последнее – по порядку номеров). Если у нас теперь много говорят о языке художественных произведений, то Вы, вероятно, относитесь к подлинным мастерам стиля и слова.

Во всяком случае, требовательность к слову у Ваших героев – Кержуна и в какой-то мере Ирены – повышенная. Я просто не подобрал примеров, но, не говоря уже о точности словоупотребления, по-моему, в повести, в монологах, диалогах, пейзажных зарисовках слово действительно выступает как первоэлемент литературы по своей выразительности и пластичности. Больше того. Требовательность к слову становится в повести важнейшим мериллом нравственной сущности человека, “косноязычие” приравнивается к духовному убожеству, по крайней мере, выступает как показатель мещанской тупости и ограниченности, рутинности и косности. Вот почему творческое бессилие и скудоумие Вераванны проявляются в её приверженности к штампам, в незнании богатств народной речи, даже боязни незнакомых слов (“рундук”, пресловутая “труперда”). И герои вправе позволить себе такую “роскошь”, как игра словом, хотя бы через его переосмысление. На мой взгляд, подлинная или вымышленная (к стыду своему, не знаю) фамилия Коперника – Покорник – в её прямом, нарицательном, звучании используется как средство характеристики Кержуна, как почти синоним его тактики отступления и примирения с жизненными трудностями...

На этом я и кончу своё непомерно затянувшееся письмо. Приношу извинения за сбивчивость изложения, косноязычие (в смысле беспомощности подобрать необходимые синонимы), злоупотребление кавычками, обилие помарок и недостаточно разборчивый почерк.

Шлю Вам самые наилучшие пожелания. Выражаю надежду, что в книжном варианте Ваша повесть приобретёт свой настоящий вид и будет опубликована полностью без купюр⁵⁷.

Воробьёв ответил читателю. Сохранилось ещё одно письмо Паккера, от 30 декабря 1971 года, написанное уже другими, чёрными, чернилами. Он оценивает присланную книгу: она издана добротно, сказались давние издательские традиции Вильно. “Всё более утверждаюсь во мнении, — признаётся читатель, — что Ваша художественная стихия — сложный сплав юмора в самых разных его проявлениях и... лирики (лиризма). Впрочем, сказанное мною звучит общо и применимо по крайней мере к десятку современных наших писателей”⁵⁸.

А вот письмо издалека, из села Мошана, Молдавия. Автор, Нина Лупэческу, тоже учительница. Написано на сдвоенных листах тетрадной бумаги в клетку⁵⁹. Дата: 23 марта 1972 года. Конверта нет, поэтому неясно, на какой адрес его отправили.

Уважаемый Константин Дмитриевич Воробьёв!

Я учительница математики и завуч маленькой восьмилетней школы одной деревушки Молдавии. С Вами “познакомилась” посредством журнала “Наш современник”. Его девятый номер за 1971 год попал у нас (так в тексте, правильнее: к нам. — В. Б.) совершенно случайно. Ещё тогда в октябре я заявила в учительской, что я открыла нашего советского Хемингуэя, и что он неправдоподобен. Почему Хемингуэя? Во-первых, Ваша повесть живо заинтересовала всех, кто только её прочитал. По-моему, это бывает только с произведениями общепризнанных писателей. Вы напомнили мне Хемингуэя краткими, очень удачными диалогами, лаконичностью изложения, Вашей симпатией к рыбакам и охотникам, пишете от первого лица и мысли у Вас текут так же свободно и естественно, как будто пишутся сами. Мало кто осмелился взять себе в герои писателей.

Мне, конечно, в литературные критики не записываться, и трудно мне будет выразить то, что хотелось бы сказать. Один наш молдавский поэт (Эминеску) писал, что “легко сочинять стихи, когда сказать тебе нечего” (перевод мой). А мне почему-то очень много хотелось сказать Вам. Например, я хотела бы поделиться с Вами мыслями о том же Хемингуэе. Сердцем я понимаю, что он велик, очень талантлив, очень смел, оригинален, необыкновенно отважен и глубоко человечен, но умом я не до конца его постигла. Я учительница, и считаю, что составила себе определённые взгляды о хорошем и плохом, но Хемингуэй меня встревожил и озадачил. Я не могу понять, как могут его герои так много пить, оставаясь неалкоголиками, почему им совершенно чуждо чувство верности (я имею в виду в любви), многое я ещё не “переварила” в голове. Может, мне не следовало это сказать. Я ещё не знаю, как Вы примете это моё письмо. <...>

Нужно прерваться. Думаю, Воробьёв получил письмо, когда работал над повестью “...И всему роду твоему”. Потому что в набросках к ней остались слова, заимствованные именно отсюда. Мнение молдавской учительницы писатель “подарил” своей героине. Сравним, глава “К беседе с Ларой”: “Она говорила о Хемингуэе, что не может понять, как могут его герои так много пить, оставаясь неалкоголиками, почему им совершенно чуждо чувство верности в любви”⁶⁰. Дальше следует обмен короткими репликами об американском писателе и отзыв о героях фильма “Вертикаль” (тема, которой уже нет в письме): “Совершенно бездарное, а главное — ненужное, смешное, отвратительное пыженье. Обездоленные во времени! Ни войны, ни трудностей, ни борьбы, и вот выдумали — лезть на гору, где уже побывали до них пятьсот тысяч таких гавриков”⁶¹. Звучавшие здесь песни Высоцкого писателя совершенно не пленяли. Однако вернёмся к письму.

Меня раздражает, когда читаемое звучит банально, фальшиво, когда никак не поверишь тому, что там написано. К сожалению, это встречается чаще в современных произведениях, наверно, просто потому, что плохие книги не выжили и не могут до нас дойти. Их читатели только те их современники.

В этом смысле Ваша повесть была для меня большим сюрпризом, огромной радостью, обновлением и очищением моей души, как то чувствуешь перед настоящим произведением искусства. Я восхищаюсь ею, как каким-нибудь очень красивым уголком природы или журчанием воды, или очень хорошей му-

зыкой. Всё это я почувствовала, когда прочла первую часть вашего “Великана” и, чтобы подольше сохранить это необычайное настроение, я решила ничего не читать, пока не выйдет её вторая часть.

Дальше Нина Лупэческу пишет, какое неприятие вызвали у неё рассказы Шукшина из девятого номера “Нашего современника”, объединенные общим заголовком “Характеры”. Они шли следом за “Великаном”. Её покорила фраза из “Ораторского приёма”, где героиня, буфетчица Галя, была охарактеризована как “аппетитная женщина”.

Мне очень нравится Ваша Ирена. Она умна и чутка. Мне нравится, что Вы не поддерживаете, будто бы она очень красива. Это наводит на приятную мне мысль, что можно “очень” любить и не очень красивых женщин. Она не идеальна, но она не может не вызвать симпатии. Её страх перед всеми за свою большую тайну, незаконную любовь естественен и трогателен. Она не может, как, впрочем, не может никто другой (кроме Хемингуэя) игнорировать условности. Либо живя среди людей надо обязательно считаться с их взглядами на мораль, и это так называемое общественное мнение гласит, что жене надобно быть верной мужу. То, что она никогда не познала любви и что она, эта жена, имеет право (моральное право) узнать её, люди не понимают или не хотят понять. Такое никогда не прощается, особенно женщинам.

Она, Ваша Ирена, мать, и она остаётся ею! И ей столько же лет, сколько и мне, как тут её не полюбишь. И она “детприёмовская”, и очень нужна ей настоящая любовь и ласка.

Уже я не могу сказать как, конечно, мне мил Ваш Кержун. И его человечностью, смелостью, эрудицией, и равнодушием к красивой одежде. А главное, он реален, верится, хочется верить, что такие люди есть, и их много. Вообще, по-моему, все герои у Вас совершенны. Ново, что Волобуй вызывает не ненависть, не презрение, а сострадание. Он любит Ирену и готов её прощать. Но это не госпожа Бовари. Он по-своему борется за Ирену. Удачен конец Вашей повести (а Воробьёву хотелось, чтобы Кержун в конце застрелился. — В. Б.). Конечно, счастье. Оно всегда недолговечно. Ирена не могла пожертвовать дочерью ради своей любви. Но всё, что было, было не напрасно. По-моему, человек добрее, лучше, когда ему есть что вспомнить хорошее. И тогда ему легче жить на свете и легче преодолеть трудности.

Я уже сказала кое-что о форме. А Ваш лиризм, что ли, Ваши “улыбки через слёзы”, Ваше меткое слово, полуирония понятны, близки мне, неоценимы. Создаётся впечатление, что слова не написаны, а текут и текут из неведомого золотого ручейка.

И когда мне трудно, и когда хорошо, я снова и снова возвращаюсь к Вашей повести и перечитываю её, иногда некоторые части, иногда всю, и это помогает мне, как лекарство. Мы (учителя нашей школы) долго искали Ваши произведения, но никто ничего не нашёл. Я не верю, что они не издавались книгами. По правде говоря, меня удивила Ваша скромная “литературная” биография. По-моему, она могла бы быть богаче, намного богаче.

Я ещё раз прошу Вас простить мне мою “степную отсталость”. Я ведь всего-навсего молдаванка, родившаяся и жившая в деревне. У меня, наверно, много ошибок. Я могла бы обратиться за помощью к учительнице русского языка. Но что-то меня остановило. Я долго раздумывала, писать или не писать.

Я преклоняюсь перед величием Л. Толстого, Чехова, Есенина, конечно же Хемингуэя. Но они были для меня далёкими звёздами. Мне даже в голову не приходило, что кто-то к ним осмелился дотрагиваться. А тут появился Константин Воробьёв, чем-то необыкновенно мне близок, и живёт где-то, и ходит по той же земле. Как удержишься, не поблагодаришь его за то, что он есть, что он твой современник и твой соотечественник, и умный человек и талантливый писатель.

Я желаю Вам здоровья и славы, большой, большой славы, той, которой Вы очень достойны.

Воробьёв ответил на это письмо. Видимо, он что-то написал о своём отношении к Хемингуэю. Сохранилось и второе письмо Нины Лупэческу. Она взяла два сдвоенных листа тетрадной бумаги в клетку, положила их вертикально, написала ответ. Как ни странно, именно это, второе, письмо вошло

в качестве приложения в пятитомное собрание сочинений Воробьёва, а первого, где сказано самое важное о повести, нет. Нина Лупэческу пишет, как преобразилась её страна, о женщине в досоветской Молдавии, о том, что ей хотелось бы увидеть глазами Воробьёва учителей. “Меня заинтересовала одна Ваша мысль насчёт серого цвета, и я подумала, что многие дети становятся на плохой путь, именно избегая серого цвета, они предпочитают ему любой, даже чёрный. Им претят наши полузаслуженные тройки, учёба им становится неинтересна, и они ищут удовлетворений на стороне. Что они находят, уже известно. Говорят, ученик – это факел, который надо зажечь. Но как зажечь этот “серый факел”, как убедить их, что тройку тоже можно уважать и надо стараться получить её заслуженно – это я не знаю”⁶².

Автор следующего письма – читатель Л. Завельский из Инты. Дата: январь 1977 года. Воробьёва уже нет в живых. Письмо написано на сдвоенных листах тетрадной бумаги в клетку, расположенных вертикально, синими чернилами. Почерк округлый, прямой, с петельками, неторопливый. Буквы выведены жирно. Вверху по центру автор проставил номера страниц. Письмо адресовано Галине Павловне Высоцкой. В прошлом москвичка, выпускница МГУ, она работала в той же Инте редактором на радио. В пятый том курского собрания сочинений Воробьёва вошло её письмо писателю. Получив этот отклик, она, очевидно, и переслала его Вере Викторовне Воробьёвой, с которой поддерживала связи.

Очень сильное впечатление произвела на меня повесть “Тётка Егориха”.

Как Вы сами понимаете, я не профессиональный критик. Просто мне хочется поделиться с Вами некоторыми мыслями как читателю с читателем.

Я давно уже заметил, впрочем, это закономерно, что пишущий о детях – всегда добр. Какая-то вещь, написанная с любой степенью таланта, но написанная о детях с любовью, всегда изобличает человека доброго, человека благородного. А если к тому же написанное о детях искрится подлинным талантом – это Писатель.

Кажется, Лев Кассиль выразил мысль о том, что если книга, написанная для детей, читается с интересом и взрослым читателем, значит, это хорошая детская книга. Повесть Воробьёва “Тётка Егориха”, конечно, не совсем, а и скорее всего не детская книжка, но школьник её будет читать с неослабевающим интересом. Однако, как мне кажется, чтобы прочувствовать глубину и драматичность этой вещи, конечно, нужна житейская мудрость взрослого человека.

Отождествлять героя произведения, литературный образ с автором – дело сомнительное, даже если книга написана от первого лица, хотя у героя что-то будет, конечно, от самого автора. Ведь это художественное произведение, а не биографические записки. Но несомненно одно, “Тётку Егориху” мог написать лишь человек, сам прошедший нелёгкий жизненный путь, вкусивший горький хлеб обездоленного детства, человек, прочувствовавший всю глубину, весь драматизм этого тяжёлого и прекрасного времени.

Меня поразило, с каким мастерством, буквально несколькими штрихами, в двух-трёх словах Воробьёв набрасывает не просто портрет героя, а нечто большее, почти его характеристику. Ну вот он, Момич: “Жеребец чёрный, как сажа, и сам мужик тоже чёрный – борода, непокрытая голова, глаза. Белые у него только рубаха да зубы”. Здесь всего две строчки, но я вижу этого Момича с широкой спиной, могучими, как наковальни, лопатками. А какая тонкая и мудрая мысль, я бы сказал, стержневая: “... мне тогда было десять, а Момичу пятьдесят. Тогда мы как бы одновременно, но на разных телегах въехали с ним на широкий древний шлях, обсаженный живыми вехами наших встеч и столкновений...”

У каждого человека своё восприятие, темперамент, своя мера чувств. Наверно, нужно быть большим художником, чтобы заставить самых разных людей волноваться, переживать, страдать, быть может, вместе с героями книги. Такая власть дана не каждому. Глубоко убеждён, что “Тётка Егориха” никого не может оставить равнодушным. Судьба Саньки, его детство ассоциируется у меня с моим, глубоко личным, переболевшим. Я многое вспомнил, и пусть наше детство прошло в разное время, я глубоко благодарен за это автору.

Воробьёв, на мой взгляд, обладает великолепным чувством времени. Вот Санька, а вот “маленький генерал” – суворовец из “Картины души”. Два

мальчика. Они очень разные, и время разное, и ситуация. И всё же они родные. Это очень важно, по-моему.

Воробьёв очень страдает, когда детям плохо. Вспомните: “Словить пескарей было трудно, потому что всё уплывало – и ракитник, и речка, и берег, и я сам...” И в рассказе “Штырь” Верхованцев, исступленно: “...Гибнут дети! Вы понимаете, дети!...” Какая трагедия – голодают дети. И Воробьёв, как, может быть, никто другой чувствует это и страдает и заставляет страдать читателя.

К. Воробьёв всегда знает то, о чём пишет. Стоит вспомнить лишь, как он описывает коммуны в соседней деревне, жизнь коммунаров, жизнь Саньки. Когда вчитываешься в эти строчки, невольно думаешь, какие нужны были титанические усилия сотен тысяч таких вот Лесняков (фамилия председателя коммуны в повести. – В. Б.) в фуражках с облупившимися козырьками, чтобы сегодня по огромным колхозным полям прошли миллионы громадных комбайнов.

Это впечатляет тем более, что написано мастерски, со знанием дела.

А как бережно показывает Воробьёв любовь Егорихи и Момича. Здесь и сдержанность и какое-то искреннее целомудрие. И всё это через взгляд ребёнка, через Санькин взгляд.

Воробьёв прекрасно знает деревню тех далёких времён, её обычаи. Помните сцену избияения двух конокрадов? Дикость, зверство! Некий читатель может увидеть здесь натурализм. Но ведь писали о таком и Горький, и Шолохов, и многие другие. Так было, слова из песни не выкинешь.

Воробьёв сострадает и “Царю” (прозвище одного из героев, брата умершей матери мальчика Саньки. – В. Б.). Не вышла, не получилась жизнь у человека, сломало, согнуло его время. Он, этот “Царь”, конечно, не вызывает у читателя симпатии. Он хоть и дурак, но и хитёр, и жаден. Но виноват ли он в этом?! А тётка Егориха. Какая это женщина! Милая, умная русская крестьянка. От всего её облика веет обаянием и какой-то необыкновенной, пронзительной добротой. Никогда она не унывает, и в самые тяжёлые минуты, и в редкие минуты радости она всегда равна, спокойна и уверена. Такие Егорихи много лет спустя были матерями партизан. Они спокойно стояли босые и полураздетые на снегу под дулами автоматов в руках разъярённых карателей. Стояли и молчали. Их убивали, а они молчали, никого не выдав.

Повесть “Тётка Егориха”, это повесть о детстве, о людях, о великих годах. Это книга о трудном и прекрасном времени.

“Солнце било мне в спину. Оно сияло с той стороны, где осталась Камышинка – чёрное море моё, святая радость моя!...”⁶³

Я думаю: что если бы сейчас, перечитав Воробьёва, написать ему письмо? Слово он всё ещё с нами, у себя дома, в Литве – письмо о нашем времени. Повесть о чём-то сокровенном, о прочитанном, попытаться выразить, как вошло его слово в душу, что изменило, о живом трепете этого слова (так выразился он сам в одной из записных книжек о вышедшем в свет сборнике Андрея Платонова). Что бы он сказал? Что бы ответил он?..

“Любовь к жизни и к людям составляет Вашу главную силу...”

Пушкинскую фразу “Гости съезжались на дачу” считают гениальной по простоте. Если так, рядом с ней по праву можно поставить первую строку “Убитых под Москвой” Воробьёва: “Рота кремлёвских курсантов шла на фронт”. Мы уже знаем, что будет с ними дальше. Ведь мы прочитали заголовок и эпиграф из “Я убит подо Ржевом...” Твардовского.

Изучать и критиковать “Убитых...” необходимо, памятуя известный пушкинский принцип, заявленный в письме А. А. Бестужеву в январе 1825 года. Тогда речь шла о грибоедовском “Горе от ума”: “Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным”. Воробьёва, что бы он ни написал, нужно судить по тем творческим законам, которые он сам себе установил. Их нужно открыть, освоить, понять, но не навязывать ему извне...

В январе не столь далёкого 1964 года критик Григорий Бровман попытался со страниц первого номера журнала “Москва” применить ко многим только что изданным произведениям, в том числе о войне, мерилу совершенно “внешнее”, идеологическое – “исторический оптимизм”. Им он определял

“дух и направление” (слова В. Г. Белинского) текущей советской литературы. Понятно, что Воробьёв не вписывался в эту концепцию. . .

Однако надо пояснить, что же она такое.

Правда советского общества, строящего коммунистический мир, это одновременно и правда искусства слова. Лучшим произведениям, созданным после 1917 года, всегда свойственен жизнеутверждающий пафос. Это есть торжество самой коммунистической идеи, воплощение духа и правда преображающей мощи революционной жизни. Однако в последнее время, когда был разоблачён и осуждён культ личности Сталина, “некоторые наши литераторы отказались от активных жизнестроительных позиций и отошли в своих произведениях от изображения реального положительного образа современника, творца коммунистического общества”. Это, по Бровману, результат влияния “буржуазной литературы”. Далее следуют тезисы из выступления Хрущёва на встрече с деятелями литературы и искусства на июньском пленуме ЦК КПСС 1963 года. Если коротко, суть их в том, что партия против “одностороннего осуждения действительности”, против тех, кто хает и очерняет “советские порядки”, но также против “сусальных и подслащенных картин”. Какие бы трудности человеку ни выпадали, он обязан, если он коммунист и патриот, с оптимизмом смотреть в будущее, ибо оно прекрасно. В концепцию “исторического оптимизма” не вписывались “Апельсины из Марокко” Василия Аксёнова, “Первый день Нового года” Анатолия Гладилина, “Хочу быть честным” Владимира Войновича, “Моя Джомолунгма” Евгения Носова, “Матрёнин двор” и “Для пользы дела” Александра Солженицына. По поводу последнего рассказа, увидевшего свет в июльском “Новом мире” 1963 года, Бровман писал, что в нём смысл изображаемых событий перенесён из общественно-политического “в отвлечённо-моральный план”, автор становится на защиту невинно пострадавших учителей и воспитанников техникума, надеявшихся на переезд в новое здание, отданное в результате другому хозяину, научному институту. Это несправедливо. А в чём видит справедливость сам Бровман? “. . . Высшая и истинная справедливость – в общественном, народном и, если хотите, государственном значении того или иного события или поступка. Если отвлечься от этого единственно верного критерия оценки явлений и считать решающим толкование, основанное на абстрактном понимании правды и кривды, то вряд ли мы придём к точным выводам и построим жизненную идейно-художественную концепцию”⁶⁴. Помимо литературных произведений “досталось на орехи” и военной киноповести Василия Ордынского “У твоего порога” (1962 год).

Это знакомая “идеология” тихоновских “Гвоздей”. “Ценность” человеку задаёт “высшая” цель, которой он служит и подчинён.

Жизнеутверждение может проявлять себя и в горе, и в страдании, и в смерти. Дело в том, как и во имя чего всё это преодолевается. Остальное – “буржуазно-либеральная филантропия”. “Художники социалистического реализма в отличие от своих предшественников всегда должны творить в свете идеала (здесь и далее разрядка Бровмана – **В. Б.**) и служить правде не только обличением зла и уродства, но прежде всего утверждением нового, что рождено Октябрьской революцией и коммунистическим строительством”⁶⁵. На следующей странице: “Без жизнеутверждающего настроения нельзя написать истинно художественную, патриотическую книгу о войне. Нужны чувство меры, психологический такт, понимание подлинных масштабов исторической битвы за коммунизм, уверенность в его победе. Тогда никого не смутят, не испугают ни горести, ни страдания, ни смерти, изображённые писателем, и он смело может создать настоящую трагедию, приобретая внутреннее право назвать её, как Всеволод Вишневский, оптимистической. . .”⁶⁶

В концепцию исторического оптимизма вписываются “Солдатами не рождаются” Константина Симонова, “Пропавшие без вести” Степана Злобина, “Люди остаются людьми” Юрия Пиляра, “Дикий мёд” Леонида Первомайского, “Фронтальная страница” Василя Быкова. . . Но только не Воробьёв. “Убиты под Москвой” – это у Бровмана “мрачный реестр страданий, ужасов и смертей. . . Изуродованные тела, оторванные руки, искалеченные жизни. Грубость и жестокость в отношениях между солдатами. Страх перед возможностью погибнуть, лишающий воина человеческого облика. Вы здесь не найдёте ни товарищества по крови, ни фронтového братства, ни памяти о близких, оставшихся в тылу, ни мыслей о земле, которая тебя вынырнула”⁶⁷. Напоминает рецензию Кваснецкой, не так ли?

Странно или, напротив, вовсе не странно, но учат умирать за высшую идею и устанавливая литературный канон люди, ничем на фронте не отличившиеся, если вообще бывшие там. Бровман, впрочем, кое-что повидал. В марте 1942 года он был награждён медалью “За отвагу”, в приказе войскам Четвёртой армии он значится интендантом второго ранга и сотрудником редакции фронтовой газеты “В бой за Родину”. В августе 1944-го ему, уже корреспонденту армейской газеты “Бей врага” 14-й воздушной армии, был присвоен орден Красной Звезды... В воспоминаниях о Твардовском Воробьёв упомянул, что до “Нового мира” посылал “Убитых...” в другой журнал. Редактор энергично вернул рукопись и эмоционально “разъяснил”, что война была вовсе не такой, как описана в повести. Под конец назвал автора “пустым холодильником”. “В то время я был ещё сравнительно молод, и такое кухонное сравнение привело меня в состояние столбнячной оцепенелости. Позже я узнал, что этот редактор на войне не был”⁶⁸. Воробьёв не привёл ни названия журнала, ни имени сотрудника, надо полагать, обычного, не главного, редактора. Увы, это затрудняет поиск...

Если допустить сравнение писателя и живописца, я бы рядом с Воробьёвым поставил Василия Верещагина. У него нет торжественных парадов и гарцующих на коне полководцев, у него есть пирамида человеческих черепов с кружащими над ними воронами – апофеоз войны; у него есть солдат с полуоторванным погоном на плече, бегущий с поля сражения, бросив винтовку, зажимающий обеими ладонями рану чуть ниже сердца; у него есть куча отрубленных голов – военные трофеи, над которыми склонил взор вельможа в чалме; у него то там, то тут страдающие и убитые люди – “реестр смертей”, усеянное трупами поле, над которым воздел кадило священник, и никакого “оптимизма” по поводу низвергнутой Османской Порты или взятой Хивы. И художник имеет право видеть войну именно так.

На следующий год после выхода в “Новом мире” “Убитых...” Воробьёв взялся за работу над новой повестью “Друг мой Момич” – о коллективизации, увиденной глазами подростка. В 1965-м она была закончена. Писатель снова послал её Твардовскому. Был заключён договор, выплачен аванс. А весной от главного редактора пришёл вызов на редколлегию в Москву. Что там происходило, Воробьёв описал в воспоминаниях о Твардовском, затем Вера Воробьёва в “Розовом коне”. Редколлегия журнала отклонила повесть, а главный редактор не смог ничего сделать.

Писатель отдал “Момича” в “Советскую Россию”. Предполагалось, что повесть включат в его новый сборник. Он был свёрстан, но печать приостановили. Книга не вышла.

В письме от 28 июля 1966 года Воробьёв просит редактора Ингу Фомину подробно ему написать, что произошло. “Я, к сожалению, не могу приехать, я совершенно потерял, и 1 августа надо выходить на работу в редакцию газеты, иначе места не будет. Я три дня пытался написать Вам это письмо, но оно не получалось. Я хотел бы знать, кто именно запретил книгу. <...> Дело в том, что я не могу представить в дальнейшем свою судьбу как писателя. Я похож на человека, бегущего под уклон с ножом в спине”⁶⁹. Это же письмо приводит и Вера Воробьёва в “Розовом коне”. Но эпизод с “Момичом” описан у неё поспешно, и совсем неясно, каким был ответ, что всё-таки произошло.

Надо помнить, что к изданию готовился именно сборник, и кроме “Момича”, отвергнутого “Новым миром”, туда вошли некоторые рассказы, “Почем в Ракитном радости”, “Убиты под Москвой”. Инга Фомина не исключала, что возникнет необходимость заменить эту повесть на “Крик”. Она ответила Воробьёву несколькими письмами. Одно из них, от 19 августа, приведу полностью, так как пересказ не заменит интонаций, иронии, не даст ощутить того напряжения, с каким развивались события. Инга Фомина сделала решительно всё, чтобы книга была выпущена. Но на пути редактора и писателя встала преграда непреодолимая – трусость начальства. Упомянутый в письме поэт, переводчик с китайского, тогдашний главный редактор художественной литературы издательства “Советская Россия” Владимир Павлович Туркин испугался издавать такой “неоптимистичный” сборник в год пятидесятилетия Октября. А директор, вышедший из отпуска, его поддержал. В письме упоминается поэт и прозаик Михаил Данилович Карунный, друг Воробьёва, он тогда работал в “Советской России” заведующим отдела прозы:

Константин Дмитриевич, дело обстоит так. Вождь (В. П. Туркин. — В. Б.) прочитал, крыл меня на летучке за общую направленность книги, удивлялся и прочее. Но при всём том не устаёт повторять, что это талантливо, по-настоящему написано и т. д.

Мы с Михаилом Даниловичем хотели Вас вызвать сейчас, т. к. после публичного его заявления, что книга снята из плана 1967 года, наступило время официально известить Вас обо всём. Это невиданно, чтобы книга снималась с плана в сверке, а с автором не было никаких разговоров. Но вождь попросил сейчас Вас не вызывать, он хочет дожидаться прихода из отпуска директора (1 сентября тот пожалует) и “посоветоваться” с ним по “волнующим вопросам”. Сейчас, мол, он не знает, что решить, какой найти выход, и потому не готов к разговору с Вами.

В общем, у меня создалось совершенно определённое представление, что разговора с Вами он боится; гораздо легче браковать талантливые книги заглазно. Но начальство есть начальство, и, наверно, придётся Вам приехать тогда, когда оно наберётся смелости что-то решить. А пока у меня к Вам просьба: найдите, если у Вас есть дома, рецензии на “Убиты...”, “Ракитное” и “Сказание...”, и пришлите (или привезите мне, когда поедете). Мне нужен не список рецензий, а сами тексты их. И письма читателей, которые мы Вам посылали (после выхода в свет в 1964 году сборника “У кого поселяются аисты”. — В. Б.). Это нужно мне.

Я буду категорически настаивать на том, чтобы по повестям, уже опубликованным, не было никакой дурацкой правки. Это невиданно и смешно.

Что слышно в “Н[овом] м[ире]”? Ничего? Может быть, у них есть рецензии положительные? Очень бы они мнегодились.

Вы просили держать Вас в курсе этой милой эпопеи — вот Вам отчёт на сегодняшний день. Будьте!⁷⁰

В статьях о Воробьёве упоминается, что Инга Фомина получила выговор за этот невышедший сборник. Сама она об этом в письмах не сообщает. Очевидно, тут неточность, и имеется в виду тот самый разнос на летучке “за общую направленность”. Выговор объявляется письменно, и если он был, в архиве издательства среди распоряжений по штатному составу должен сохраниться приказ. Рецензии у Воробьёва имелись: в “Литературной газете” за 13 августа 1960 года вышла статья “Новый писатель” Юрия Бондарева (отклик на сборник “Гуси-лебеди”), он же приветствовал в “Новом мире” “Крик”, уже после Бровмана в 1965 году появилась статья Виктора Астафьева об “Убитых...” “Яростно и ярко”, и ему же принадлежит отзыв “Аисты поселяются у хороших людей” о выпущенном “Советской Россией” сборнике... Впрочем, редактор, наверно, имела в виду не только их, но и копии внутренних издательских рецензий разных лет.

Под заголовком “Тётка Егориха” и с сокращениями Воробьёв издал повесть в Вильнюсе. Полностью “Момич” увидел свет лишь после его смерти.

Инга Фомина руководствовалась среди прочего редким и неписанным редакторским принципом, которому не учат в вузах: если ты кого-то напечатал, этот человек отныне становится твоим другом. Воробьёв хотел решительно порвать с издательством. Она убедила его подготовить сборник с другим содержанием. Ведь договор-то остался. И сделала всё возможное, чтобы снова включить книгу в план. В 1967 году она вышла в “Советской России” под неприязнительным заголовком “Повести. Рассказы”. Сюда вошли “Большой лещ”, “Костяника”, Живая душа”, “Волчьи зубы”, “Дорога в отчий дом”, “Ничей сын”, “Хи Вон”, “У кого поселяются аисты”, “Одним дыханием”, “Я слышу тебя” и ряд других произведений. Совершенное иное содержание, нежели в предполагавшейся ранее книге.

Судя по штемпелю на конверте, Инга Фомина написала это письмо в марте 1967 года:

Если учесть, что этот сборник — для Вас — важен только как экономическое подспорье, не надо затевать бучу из-за их психоза с повестями. Это ничего не даст, кроме обострения отношений с издательством. А к чему их обострять? Ведь ещё есть договор, и ещё будем Вас издавать. Может, времена изменятся, и когда-нибудь издадим — тихо и спокойно — повести и “Момича”...

Делаем всё возможное и невозможное, чтобы сборник этот был издан в течение трех месяцев, к июлю. В этом заинтересован наш отдел тиражирования, т. к. тираж, собранный на эту книгу, действительно в течение года, а ведь книга объявлялась в книготорговой сети ещё в 1966 году. Если удастся — в июле получите гонорар.

Пожалуйста, не сердитесь; если бы Вы знали, как трудно и тяжело было отстоять даже этот состав сборника и вообще добиться включения книги — снова! — в план этого года, Вы бы, наверно, лишний раз порадовались, что не служите редактором в нашей конторе...⁷¹

После этого сборника Воробьёв стал готовить другой. В 1971-м он закончил новую повесть, одну из ключевых, “Вот пришёл великан”. В очередную книгу для “Советской России” предполагалось включить рассказы “Генка — брат мой”, “Уха без соли”, “Чёртов палец”, “Два Гордея” и “Тётку Егориху”. Содержание совершенно новое. В декабре 1971-го Инга Фомина со свойственной ей иронией сообщила Воробьёву: “Завред прочитал “Егориху”, заикается от восторга и боится, что Ваш большой друг В. П. Туркин её не пропустит. Надеяться, что этот деятель (В. П.) останется на постоянное жительство в Кисловодске, куда он отбыл 25/XI, увы, нельзя. И на благотворное идейное влияние гор — тоже. Если не удастся, что поставим вместо?”⁷²

Ещё не вернулся “с югов” Туркин (“товарищ Т.”, как назвал его в письме Юрию Томашевскому Воробьёв), стало ясно, что повесть не пройдёт. По крайней мере, писатель признавался в письме к другу: “Дела в “Сов. России” для меня жёлтые. Боятся “Егорихи” (коммуна, видите ли, хреново нарисована, совсем нет гаруса и позумента). Но этой конторе я должен полторы тыщи, так что они вынуждены составить мой сборник”⁷³. Повесть в сборник не включили, хотя о ней с теплом отозвался привлечённый к работе критик Всеволод Сурганов. Воробьёв предложил заменить её “Сказанием о моём ровеснике”⁷⁴.

Не особенно похвалил Сурганова в одном из писем Юрий Томашевский: печатается в “Правде” и “Коммунисте”, “пишет о том, как хорошо живут у нас на селе и как преступно не замечают этой хорошей жизни там писатели-деревенщики. Пишет он и о военных писателях типа бессмертного В. Кожевникова. Но главной его специальностью является Л. Соболев, он его придворный биограф. И вот, несмотря на всё это, С. человек добрый”⁷⁵.

Сурганов действительно написал о Соболеве несколько книг. В 1984-м защитил докторскую диссертацию по деревенской теме в прозе 1950–1970-х годов. Добавлю ещё, по странной иронии судьбы совпало так, что в одном и том же номере “Москвы” за 1964 год следом за “Правдой оптимизма” Бровмана редакция поместила статью Сурганова “А надо помнить” — о Шолохове, Солженицыне и человеческих судьбах в литературе. Это ни о чём не говорит, это просто случай. Сурганов понял и поддержал книгу Воробьёва. “Малый с изюминкой”, шутивно отозвался о нём Воробьёв в одном из писем⁷⁶. Летом 1971 года, в июне, критик написал добрую внутреннюю рецензию на его сборник:

“Не думаю, чтобы требовалось особенно доказывать, что в лице Константина Воробьёва мы имеем дело с писателем настоящим, с талантом, как говорится, “от бога”, встреча с которым неизменно доставляет подлинное наслаждение. Мне по характеру моей работы приходится читать много разных рукописей и гораздо чаще слабых. Встреча с такими книгами, какую предлагает нынче Воробьёв, — самый неподдельный праздник: превосходный, образный, окрашенный подкупающей добротой и умной иронией язык — иронией, которой писатель маскирует большую человеческую любовь к миру, к людям, их судьбам и заботам, их душевному богатству и целомудрию. Это целомудрие, сила человечности, верности в любви, дружбе, красоте природы — самые постоянные объекты писательского раздумья, бережного любования — таковы Момич и тётка Егориха со своей великой любовью друг к другу, трогательной и самоотверженной, несчастной и трагической — просто потрясает тот контраст могучей, почти медвежьей силищи, воплощением которой является Момич, и нежности, почти по-девичьему застенчивой и беззащитной, которую он тait в своей прекрасной душе...”⁷⁷.

Схожее чувство свойственно героине “Чёртова пальца”, двум Гордеям, деду и внуку, из одноимённого рассказа.

Подкупает ещё один постоянный фактор, отмечал в той же внутренней рецензии Сурганов, вернее, два: лирический настрой и автобиографический характер. Повсюду чувствуется сам рассказчик, в сущности – двойник автора и по сходным обстоятельствам судьбы, и по отношению к жизни, по привычкам, интересу к шофёрскому делу, рыбалке, по любви к природе, не оскорблённый человеком.

Сурганов отмечает ещё “воинственность” произведений Воробьёва. Он имеет в виду “неизменную и гневную неприязнь к тому, что мешает людям жить и быть счастливыми, что обрекает любовь человеческую на гибель, что оскорбляет достоинство человека, его труд и разум, вторгается в тихое царство природы с хищным гиканьем, уничтожая рыб, животных, деревья, топя сапожищами через душу человеческую. Писатель ненавидит это зло, ополчается на него повсюду и, конечно же, прав в своём стремлении разоблачить, уничтожить злую и мелочную эту силу, указать на неё людям, вооружить их против неё по сильнее, нежели его герой, который способен пустить в ход только ту же иронию, вызов, демонстративное пренебрежение умного и независимого человека всевозможными предрассудками, глупостью, жадностью, мещанским взглядом на жизнь, наконец. Казёнщиной – едва ли не самым страшным и лютым врагом К. Воробьёва”⁷⁸.

В этом Сурганов видит главный пафос новой книги. В большинстве произведений, отмечает он, присутствует мотив схватки со злом и возмездия (вспомнить “Уху без соли”):

*“Воробьёв совершенно правильно атакует людей, которые теряют душу, оказавшись на “казённой” должности, на должности, которая даёт власть над судьбами людскими... И нет ничего страшнее, если на ней окажется дурак, обыватель, трус, фанатик, деспот, неудачник в личной жизни. Для него и люди теряют лицо, начинают подводиться под параграфы статей и пункты характеристик... Словом, Воробьёв, вслед за многими нашими писателями, начиная с Горького и Маяковского, выходит в атаку на давнего, но не желающего сдаваться врага – “отъявленного и давнего”, как выражался Маяковский, – на обывателя, мещанина, отличающегося страшной силой приспособляемости к условиям времени и его переменам и жадно рвущегося к власти над людьми, ради утверждения, ради навязывания им своих обывательски казённых взглядов, своей мертвящей психологии...”*⁷⁹

Сурганов подчёркивает, что это нужная и своевременная атака, и писатель ведёт её уверенно и неотступно. Она получается очень хорошо, и поэтому книгу надо обязательно довести до широкого читателя. “Воробьёв – писатель того же ряда для меня, что и Астафьев, Носов, Абрамов, – того же таланта и силы, того же воинствующего гуманистического пафоса и глубокого чувства к родной земле, к человеку на ней”⁸⁰.

Рецензент советовал убрать из сборника повесть “Генка – брат мой”, так как она слишком переключается с “Великаном” и выглядит этюдом к нему. Здесь больше, чем где-либо, сказалось свойственное Воробьёву стремление подчеркнуть независимость своих героев, “их выстраданное на эту независимость право, а также сложность житейской ситуации, которая не вмещается ни в какие параграфы и правила”⁸¹. Слишком демонстративно братья-таксисты нарушают “казённые требования”. В сборнике слишком часто обыгрывается и становится подчас назойливым мотив сиротства. При этом Сурганов решительно за то, чтобы книгу принять к изданию. “Соображения, высказанные выше, писателю и его редакторам нетрудно принять к сведению, книга же в целом обещает получиться отличной, хорошим подарком читателю России”⁸².

Эту рецензию Воробьёву переслала Инга Фомина. Что тут скажешь, такие вещи приятно читать. Сурганов начал работать над вступительной статьёй. Через полтора года, в декабре 1972-го, он написал Воробьёву письмо и вместе с ним выслал для ознакомления рукопись предисловия:

Не могу сказать, что я доволен им – странно и трудно писалось всё это. Странно потому, что самое искреннее сочувствие Вашим героям, переживаниям, мыслям, мгновенный отклик читательский то и дело сталкивались с необходимостью корректировать иные мои выводы и догадки относительно условий публикации Ваших работ в “Советской России”.

Вашему брату писателю или поэту легче в этом смысле: ваша идея воплощается в образ, в сюжет, в характер. Нам же, критикам, приходится её “дешифровать”, переводить на язык логики. Обнаруживая то, что подчас может привести в тревогу какого-нибудь Владыкина (героя повести “Вот пришёл великан”, руководителя издательства. — В. Б.).

Надо было сказать всё, что хотелось сказать, но так, чтобы не подвести Вас, надо было, оставляя за собой право критики, постараться загодя прикрыть Ваших “сирот” от атак несправедливых. Всё это очень сковывало и, конечно, не могло не отразиться на статье. Да и развёртываться она не хотела по той же причине — Инга ведь не связывала меня объёмом, мог бы и до листа, до полутора дотянуть, а вот не “тянулось”...

Видимо, тут есть и субъективная причина: та самая “ясноглазость”, которую Вы во мне таки угадали, не всегда уживается с темой духовного одиночества, вернее, с преобладанием этой темы. А оно, это преобладание, порой становится чувствительным у Вас, особенно ежели читаешь всё подряд. Критиковать это бесполезно — здесь нечто коренное, связанное с мировосприятием, с характером, с индивидуальностью личности и таланта. Критиковать бесполезно — можно лишь указать на то, что мотив “сиротства” становится у Вас навязчивым, постепенно вызывает ощущение какой-то внутренней монотонности, однообразия психологической и эмоциональной посылки. И, наверно, стоит Вам об этом подумать, как-то избавиться, остеречься от этого, чтобы не повторить самого себя...

Видите — начал объяснять слабость собственной работы, а незаметно свалил на Вас причины этой слабости и наговорил Вам гадостей под Новый год!..

А ведь надо бы сказать, прежде всего, что трудности — трудностями и странности — странностями, но вообще, по большому счёту, я благодарен Вам за эту работу, за радость, которую доставили мне Ваши книги. Я пишу об этом в статье — ради аллаха, поверьте! — совершенно искренне пишу!.. В том-то и заключается своеобразие Ваше, что та самая порой мешающая мне тема духовного одиночества находится у Вас в любопытнейшем и даже несколько неожиданном сочетании с любовью к жизни и к людям, которая и составляет, на мой взгляд, Вашу главную силу⁸³.

Сурганов точно определил важный методологический подход к творчеству Воробьёва: не выписывать столбиком стилевые “огрехи” и повторы одного и того же мотива, а найти, обозначить и осмыслить, чем всё это в каждом конкретном случае компенсируется. Ради чего сказано. Сила таланта Воробьёва именно в том, что не сказано у него прямо в лоб и оправдывает его “недостатки”.

Эта книга в “Советской России” стала при жизни Воробьёва последним его сборником. Вышла она в 1973-м под заголовком “Сказание о моём ровеснике”. Война нагнала писателя через несколько десятилетий. Многих его героев бьют по голове, будь это о плене (“Это мы, Господи!”, “Немец в валенках”) или о мирной жизни. Кержун в “Великане” получает удар свинцовым яйцом, направленным в дамский чулок, а потом жалуется на боль в затылке... Из художественной реальности всё это стало реальностью подлинной: Воробьёв умер в марте 1975 года от рака мозга. Он лежал в больнице. В минуту его смерти дома с сильным треском, будто сломалась пружина, внезапно остановились часы, стоявшие на письменном столе.

Он пришёл в литературу со своей правдой о человеке. Не вступал в прямую полемику, не подстраивался под идеологический “оптимизм”, но всё, что создал, или почти всё, было спором с концепцией иного, нового, человека, который будто бы формируется в советскую, предшествующую коммунизму, эпоху, на глазах у всех. Воробьёв заостряет внимание на мотивах человеческих поступков, пишет ли он о войне или о мире, о детях или о взрослых... Отсюда столь напряжённая нравственная проблематика, тема ответственности писателя, тема выбора, очищения и переоценки, детской чистоты и детского взгляда на события. Критерием подлинной художественности становится точность изображения и правда внутреннего восприятия с неизменным “компонентом” — системой ценностей, определяющих человека. Поэтому особенно значима у Воробьёва тема ответственности самого писателя за слово, оно же поступок. “Книги, большие волнующие полотно — пишутся только кровью сердца, а от созданного тобой разве не чувствуешь, как несёт ядовитым духом заразы?” Обличитель-двойник из ранней зарисовки “Бессмертие” есть

не у каждого писателя. И поэтому Останков, приехавший в своё Ракитное, дважды оправдывается перед дядей Мироном: “Я хороший писатель”. Это словно бы даёт ему право вернуться на родину. И как доказательство, он читает вслух наизусть рассказ о плене. А дядя ведёт себя подобно тем наивным читателям, желающим знать продолжение... Он верит всему, но не соглашается с “литературным приёмом”, когда о живом человеке говорится, что он, дескать, умер за месяц до освобождения из плена... Он начинает искать свою единственную правду — ту, что движет людьми.

Литература призвана будить этот поиск.

Незадолго до смерти Воробьёв задумал новое произведение — “Розовый конь”. Он вывел вверху листа заголовок и ниже поставил эпитафию из Есенина: “Жизнь моя, иль ты приснилась мне?” Заголовок + эпитафия — та же схема начала “Убитых...”, но первая, самая простая, строка — подлежащее, сказуемое, дополнение в винительном падеже — не пришла, не легла, не родилась... Она была не нужна. Воробьёв осуществил то, что удаётся единицам: сделал художественным произведением собственную жизнь. Чистый лист говорил больше, чем слово.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Воробьёв К. Д. Письмо Н. Д. Костржевской от 21 июня 1964 г. // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 2. С. 313.
- ² Воробьёв К. Д. Внутренние рецензии. Рецензия на рукопись Г. В. Метельского “Золотая карета” // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 62. Л. 40.
- ³ Там же.
- ⁴ Симонов К. М. Живые и мертвые. М., 1991. Кн. 1. С. 33.
- ⁵ Злобин С. П. Пропавшие без вести. М., 1962. Кн. 1. С. 454.
- ⁶ Макаров А. Н. Отзыв на повесть Ю. Пиляра “Брукгаузен” (“Всё это было...”) // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 16. Д. 204. Л. 29.
- ⁷ Воробьёв К. Д. Записные книжки // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 5. С. 382.
- ⁸ Воробьёв К. Д. Письмо С. А. Воронину от 23 марта 1962 г. // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 4. С. 454.
- ⁹ Воробьёв К. Д. Записные книжки // Там же. Т. 5. С. 334.
- ¹⁰ Воробьёв К. Д. Письмо в редакцию журнала “Знамя”, апрель 1957 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 197. Л. 6.
- ¹¹ Кваснецкая М. Внутренняя рецензия. Письмо неустановленному лицу (Корытов) // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 16. Д. 246. Лл. 8-9.
- ¹² Лев Ф. Г. Внутренняя рецензия на рассказ К. Д. Воробьёва “Седой тополь”, 28 мая 1957 г. // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 17. Д. 56. Лл. 21-22.
- ¹³ Там же. Л. 24.
- ¹⁴ Уваров В. Письмо К. Д. Воробьёву от 1 июня 1957 г. // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 17. Д. 10. Л. 96. В этом же деле (л. 95) хранится оригинал сопроводительного письма К. Д. Воробьёва, заверенный его личной подписью.
- ¹⁵ Чарный М. Б. Внутренняя рецензия на повесть К. Д. Воробьёва “Одним дыханием” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 17. Д. 262. Л. 2.
- ¹⁶ Там же. Л. 3.
- ¹⁷ Диктаторский режим Антанаса Сметоны в Литве с 1926 по 1940 год.
- ¹⁸ Чарный М. Б. Внутренняя рецензия... // Там же. Лл. 3-4.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Мусатов А. И. Внутренняя рецензия на повесть К. Д. Воробьёва “Одним дыханием” // Там же. Л. 7.
- ²¹ Там же. Л. 8.
- ²² Там же. Л. 11.
- ²³ Рутько А. И. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьёва “Седой тополь” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Д. 305. Л. 8.
- ²⁴ Там же. Л. 13.
- ²⁵ Матов В. Н. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьёва “Седой тополь” // Там же. Л. 15-16.
- ²⁶ Воробьёва В. В. От составителя // Воробьёв К. Д. Заметки сердца. М., 1989. С. 236.

- ²⁷ Винокуров И. Г. Письмо К. Д. Воробьеву // РГАЛИ. Ф. 2924. Оп. 1. Д. 39. Л. 53. Л. 54 – автограф сопроводительного письма К. Воробьева.
- ²⁸ Матов В. Н. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “Седой тополь” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Д. 305. Л. 18.
- ²⁹ Там же. Л. 20. Выделено В. Н. Матовым.
- ³⁰ В. Н. Матов был не единственным, кто предъявлял к рассказу такие претензии. В архивном фонде К. Д. Воробьева сохранилось его письмо рецензенту Корнеевой (в нём только фамилия) от 20 июня 1953 года: “Отсутствие в “Хи Воне” указаний на то, что в Корее мужчины и женины носят одежду без застёжек и карманов, не может явиться основным пороком этого рассказа, тем более что фактические и этнографические данные о Корее в рассказе имеются. “Хи Вон” – рассказ о ребёнке, который шёл по ночам на север, и в нём, в рассказе, достаточно, на мой взгляд, полно показано, как он шёл и почему шёл” (см.: РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 197. Л. 1–3).
- ³¹ Матов В. Н. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “Седой тополь” // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Д. 305. Л. 22.
- ³² Евгеньев Б. С. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “Седой тополь” // Там же. Л. 23.
- ³³ Там же. Л. 25.
- ³⁴ Там же. Л. 26.
- ³⁵ Там же. Л. 26.
- ³⁶ Там же. Л. 27.
- ³⁷ Там же. Л. 28.
- ³⁸ Там же.
- ³⁹ Там же. Л. 30.
- ⁴⁰ Козлов И. Письмо К. Д. Воробьеву // Там же. Л. 1.
- ⁴¹ Воробьев К. Д. Письмо Ю. В. Томашевскому от 4 сентября 1970 г. // Воробьев К. Д. Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 249.
- ⁴² Например: Козлов Д. Отзывы советских читателей 1960-х гг. на повесть А. И. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”: свидетельства из архива “Нового мира” // Новейшая история России. 2011. № 1. С. 178–200, № 2. С. 192–200.
- ⁴³ У К. Д. Воробьева был ещё один вариант заголовка повести: “Алёшка, парень русский”. Он оговорился о нём в письме С. А. Воронину от 16 апреля 1961 г. (Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 4. С. 452).
- ⁴⁴ Смирнов В. Письмо К. Д. Воробьеву, не датировано (декабрь 1959 – январь 1960 г.) // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 190. Л. 8
- ⁴⁵ Агулов В. М. Письмо К. Д. Воробьеву, не датировано // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Л. 1.
- ⁴⁶ Лосева Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 15 февраля 1964 // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 190. Л. 17–19 об.
- ⁴⁷ Карцева Л. Письмо К. Д. Воробьеву от 15 марта 1965 г // Там же. Л. 38–39.
- ⁴⁸ Воробьева В. В. Розовый конь // Воробьев К. Д. Собрание сочинений: В 3 тт. М., 1993. Т. 3. С. 427–428. В пятитомном собрании сочинений этот текст дан в несколько иной редакции (Курск, 2008. Т. 1. С. 377).
- ⁴⁹ Васильчиков Н. Л. Письмо К. Д. Воробьеву от 25 октября 1964 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 190. Л. 25–25 об.
- ⁵⁰ Маслеников Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 6 декабря 1964 г. // Там же. Лл. 26–26 об.
- ⁵¹ Демаш Н. К. Письмо К. Д. Воробьеву от 26 января 1965 г. // Там же. Л. 36–37
- ⁵² Мануйлова Г. А. Письмо К. Д. Воробьеву (в издательство “Советская Россия”), 1965 г. // Там же. Л. 42–42 об.
- ⁵³ Кузовкин Ю. Письмо К. Д. Воробьеву (декабрь 1967 г.) // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Л. 54.
- ⁵⁴ Кузовкин Ю. Письмо К. Д. Воробьеву от 10 сентября 1968 г. // Там же. Л. 62 об.
- ⁵⁵ Воробьев К. Д. Письмо Ю. В. Томашевскому // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 263.
- ⁵⁶ В 2009 г. она выпустила в свет книгу “Серебряная дорога”, где опубликовала письма К. Д. Воробьева.

- ⁵⁷ Паккер Э. А. Письмо К. Д. Воробьеву от 14 ноября 1971 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Лл. 6–10 об.
- ⁵⁸ Паккер Э. А. Письмо К. Д. Воробьеву от 30 декабря 1971 г. // Там же. Лл. 21–21 об.
- ⁵⁹ См.: Лупэческу Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 23 марта 1972 г. // Там же. Лл. 32–36.
- ⁶⁰ Воробьев К. Д. “И всему роду твоему” // Собрание сочинений: В 5 т. Курск, 2008. Т. 5. С. 323.
- ⁶¹ Там же.
- ⁶² Лупэческу Н. Письмо К. Д. Воробьеву // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Л. 60.
- ⁶³ Завельский Л. Письмо Г. П. Высоцкой, январь 1977 г. // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 192. Лл. 76–80.
- ⁶⁴ Бровман Г. А. Правда исторического оптимизма // Москва. 1964. № 1. С. 188.
- ⁶⁵ Там же. С. 190.
- ⁶⁶ Там же. С. 191.
- ⁶⁷ Там же. С. 192.
- ⁶⁸ Воробьев К. Д. Вызывает Твардовский // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 4. С. 437.
- ⁶⁹ Воробьев К. Д. Письмо И. Н. Фоминой от 28 июля 1966 г. // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 222.
- ⁷⁰ Фомина И. Н. Письмо К. Д. Воробьеву от 19 августа 1966 // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 180. Лл. 5–5 об.
- ⁷¹ Фомина И. Н. Письмо К. Д. Воробьеву, март 1967 г. // Там же. Лл. 9 об. – 10.
- ⁷² Фомина И. Н. Письмо К. Д. Воробьеву, декабрь 1971 г. // Там же. Лл. 35–36.
- ⁷³ Воробьев К. Д. Письмо Ю. В. Томашевскому (7 января 1972 г.) // Собрание сочинений: В 5 тт. Курск, 2008. Т. 1. С. 263.
- ⁷⁴ Воробьев К. Д. Письмо И. Н. Фоминой от 20 декабря 1971 г. // Там же. Т. 1. С. 228.
- ⁷⁵ Томашевский Ю. В. Письмо К. Д. Воробьеву от 21 августа 1970 г. // Там же. С. 248.
- ⁷⁶ Воробьев К. Д. Письмо Т. Томашевской от 10 июля 1972 г. // Там же. С. 264.
- ⁷⁷ Сурганов В. А. Внутренняя рецензия на сборник К. Д. Воробьева “И вот пришел великан” // РГАЛИ. Ф. 3146. Оп. 1. Д. 173. Л. 6.
- ⁷⁸ Там же. Л. 7.
- ⁷⁹ Там же. Л. 8.
- ⁸⁰ Там же. Л. 9.
- ⁸¹ Там же.
- ⁸² Там же. Л. 10.
- ⁸³ Сурганов В. А. Письмо К. Д. Воробьеву от 12 декабря 1972 г. // Там же. Л. 4–5.